

КИБЕРНЕТИКА АДВАЙТЫ

АЛЕКСАНДР ФИЩУК



# ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ИИ

Как перестать быть цифровым кормом  
и обрести подлинное Я

Александр Фищук

**Человек эпохи ИИ. Как перестать  
быть цифровым кормом  
и обрести подлинное «Я»**

«Автор»

2026

## **Фищук А.**

Человек эпохи ИИ. Как перестать быть цифровым кормом и обрести подлинное «Я» / А. Фищук — «Автор», 2026

Миллионы книг об успехе учат миллиарды белок бежать быстрее ради счастья, отложенного на «завтра». Страх, выгорание, прокрастинация, дофаминовая зависимость. Теперь к беличьему колесу подключили ИИ. ИИ-Агенты получили право записи в реестры и платежные шлюзы. Исполнение обесценено, карьерные лестницы подпилены, а насос сломанных денег выкачивает прожитое время. Общественный договор Локка и Гоббса закрыт: системе больше не нужен собственник, чтобы сдерживать «войну всех против всех» — для этого созданы цифровые валюты и смарт-контракты. Пытаясь выстроить систему координат, сильный ум строит стены собственной камеры втрое прочнее заурядного. По теореме Гёделя систему нельзя починить изнутри самой системы. И вопрос не в том, что мешает обрести свободу, а в том — кто вообще спрашивает. Кто или что это «Я»? Кибернетика, психология, нейробиология и оптика Адвайты соединяются в инженерный чертеж: как перестать быть цифровым кормом, вернуть штурвал Наблюдателю и обрести подлинное «Я».

# Содержание

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Часть I. Иллюзия лифта                                        | 8  |
| Глава 1. Узурпатор в кресле директора                         | 9  |
| 1.1. Запоздалый пресс-релиз                                   | 9  |
| 1.2. Две маски и пять контуров обороны                        | 12 |
| 1.3. Парадокс осажденной крепости                             | 15 |
| Глава 2. Миф о self-made и физика больших денег               | 19 |
| 2.1. Сказка про гараж и труба DARPA                           | 19 |
| 2.2. Эпоха сломанных денег и гравитация Кантильона            | 22 |
| 2.3. Фабрика совместимости и одномерный человек               | 25 |
| Глава 3. Ликвидация среднего класса: термодинамический расчет | 29 |
| 3.1. Витрина Холодной войны и поводок «белых воротничков»     | 29 |
| 3.2. Предел сопромата и шляпка на миллиард                    | 32 |
| 3.3. Списание буфера: от собственности к подписке             | 35 |
| Часть II. Территория демонтажа                                | 39 |
| Глава 4. Вирус разумного эгоизма и концептуальное оружие      | 40 |
| 4.1. Лабораторный гомункул                                    | 40 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                             | 41 |

# Александр Фищук

## Человек эпохи ИИ. Как перестать быть цифровым кормом и обрести подлинное «Я»

### Пролог. Морковка перед носом и ошибка компиляции

У этой книги есть врожденный дефект. Если не разобрать его до первой главы, все остальное превратится в фасад.

На обложке стоит имя автора. А внутри — несколько сотен страниц вскрытия, доказывающего, что обособленное «я» с его чувством собственной важности — оптическая иллюзия. Написать трактат о демонтаже ложного эго и с удовольствием поставить на нем клеймо авторства — системное лицемерие. Уроборос, жующий собственный хвост.

Белое пальто пробужденного я снимаю еще в прихожей.

На этих страницах неизбежно будет прорываться менторский металл — голос инженера, уверенного, что уж он-то расшифровал исходный код Матрицы изящнее остальных. Это фонит та самая программа, которая ляжет на операционный стол в первой главе. Мои исходники не стерильны, и ошибки в них не выжжены дотла. Выработалось другое: ледяной аппаратный рефлекс — бить себя по рукам за микросекунду до того, как программа перехватит руль. Не всегда успеваю. Но замечаю почти всегда.

Было бы честнее выпустить эти чертежи анонимно. Но Нассим Талеб сформулировал фильтр, через который должна проходить любая жизнеспособная идея: *skin in the game*, «шкура на кону». Не доверяй тому, кто ничем не рискует. Анонимная мудрость ничего не весит — ее автор не отвечает за ошибку. Поэтому имя остается на обложке. Вместе с ответственностью.

\* \* \*

Двадцать лет я был дорогой, хорошо смазанной шестеренкой в машине, которую эта книга разбирает. Аудит, финансы, антикризисное управление, корпоративные войны, банкротства, суды. Контракты, в которых за суммами давно не видно людей. Ловушки выгорания, брошированного цинизма и статусной паранойи описаны здесь подробно не из сочувствия. Эти фасады я кирпич за кирпичом строил собственными руками — и знаю, что двери в них сделаны так, чтобы не открываться изнутри.

Поэтому здесь не философия. Здесь протоколы вскрытий.

И ни одной оригинальной мысли. Векторы, по которым движется сознание, вычислены тысячи лет назад; сегодня их суетливо подтверждают томографы и уравнения кибернетиков. Моя работа была утилитарной: спуститься в архив, вытащить древние чертежи, сдуть с них пепел культа и перевести на холодный язык системного анализа. Эта книга выросла из моей рукописи «Кибернетика Адвайты». Но за последние два года сменилась эпоха, и вопрос, на который она отвечает, стал другим.

\* \* \*

Вечер, 2026 год. Управляющий партнер юридической фирмы сидит в стеклянной переговорной на двадцатом этаже и смотрит, как программный агент за четыре минуты делает то, на что у трех младших юристов уходила неделя: поднимает судебную практику, сводит позицию, пишет проект отзыва и сам отправляет его на согласование. Без ошибок, которые стоило бы обсуждать. Партнер закрывает ноутбук, спускается на парковку, садится в машину — и не заводит двигатель. Двадцать минут смотрит в бетонную стену.

Он умный человек. Он понимает, что увидел не фокус, а смену эпохи.

В 2026 году искусственный интеллект перестал быть говорящей справочной. Агенты получили право записи — в базы данных, в код, в почту, в платежи. Цена рутинного интеллекта падает примерно вдесятеро каждый год. Нижние ступени карьерной лестницы уже подпилены: по данным Лаборатории цифровой экономики Стэнфорда, занятость специалистов от двадцати двух до двадцати пяти лет в профессиях, сильнее всего открытых для ИИ, просела на девятнадцать процентов относительно профессий, где ИИ почти не применим. Через несколько лет то же самое докатится до средних этажей — до менеджеров, аналитиков, юристов, бухгалтеров, программистов, до всех, кто зарабатывает тем, что перекладывает смыслы из одной таблицы в другую.

Тот, кто продает исполнение, проиграет машине по скорости в тысячи раз, а по цене — на порядки.

Что остается человеку? Ответ этой книги прост и неудобен. Остается одно: **подписывать правила, а не действия.** Ставить цели, проводить границы допустимого и отвечать за необратимое собственной шкурой. Машине — перебор вариантов и черновую сборку. Человеку — право сказать «нет», которое нельзя купить, запугать или заболтать.

Но здесь и прячется ловушка. Правило может подписать только тот, кто сам не взломан. Если за пультом сидит человек, которым управляют страх в четыре часа утра, голод по чужому одобрению и вечерняя лента новостей, он подпишет все, что ему подsunут, — и самый совершенный шлюз безопасности превратится в усилитель его безумия. Поэтому книга о человеке эпохи ИИ начинается не с ИИ. Она начинается с того, кто на самом деле сидит у человека в голове за рулем.

\* \* \*

Мой вопрос к читателю — тот же, что когда-то задали мне. Если отключить на час телефон, новости, работу и чужие ожидания — кто останется в комнате? И чей ум прямо сейчас читает эти строки — ваш или тот, что достался вам от рекламы, начальства и детских страхов?

Миллионы книг об «успешном успехе» пишутся для кормовой базы. Они учат быстрее крутить педали тренажера, привинченного к палубе тонущей баржи. Эта книга не продает морковку. Она показывает, кто и зачем держит ее перед носом — и как устроена ошибка компиляции, из-за которой умный, образованный человек годами бежит за пластиковой приманкой и считает это собственным выбором.

\* \* \*

Есть одна глубоко личная деталь, без которой этого текста не было бы.

Тяжелая, истрепанная временем коричневая папка. Пожелтевшие листы А4, плотно исписанные синей ручкой. Это рукопись моего отчима — человека тридцатого года рождения, который ребенком видел войну, а подростком пережил послевоенный голод. Химик по образованию, строитель по судьбе. Всю жизнь он строил — и в конце обнаружил, что в созидании и общем будущем больше никто не заинтересован.

Он смотрел на тонущий корабль государства и винил капитанов на мостике. Но так и не увидел главного: моральную черту, за которой воровство и подлость считались невыносимыми, к тому времени стерли из сознания общества. Корабль топила не только обезумевшая команда. Каждый добропорядочный пассажир деловито отковыривал от обшивки по маленькой досочке. Совсем немного. Исключительно ради своей семьи.

К этой папке книга вернется дважды — в четвертой главе и в самом конце.

\* \* \*

Устройство книги прагматично. Она идет от диагноза к сборке.

**Часть I. Иллюзия лифта.** Как устроен узурпатор в кресле директора — программа, которую человек принимает за себя. Почему миф о self-made миллиардерах — витрина, а сбережения среднего класса тихо выкачивает насос сломанных денег. И почему сама физика ресурсов подписала этому классу приговор.

**Часть II. Территория демонтажа.** Как вирус «разумного эгоизма» заставил образованных людей своими руками разобрать собственный дом. Почему у планетарного Левиафана нет кукловода. И что происходит, когда в 2026 году агенты получают право записи, а человечество начинает расслаиваться на «Простых» и «Сложных».

**Часть III. Чертеж.** Почему ум не способен починить себя изнутри — это доказано математически. Как мозг рендерит реальность и почему древние индийские аналитики описали этот механизм точнее нейробиологов. Стек протоколов сознания, модель жизнеспособной системы Стаффорда Бира и карма без мистики — как контур обратной связи.

**Часть IV. Сборка.** Ремонт тела, переключатель внимания, чистое действие. Страх смерти в четыре часа утра — и как лишить его власти. И, наконец, внешний экзоскелет «Сложного человека»: как один человек управляет роем агентов, не отдавая им руль, и как такие люди сцепляются в сети, которые старому миру не взломать.

В конце каждой главы — «Сухой остаток» и «Протокол»: одна формула, которую стоит запомнить, и одно действие или вопрос на ближайшую неделю. В конце книги — глоссарий: санскритские и инженерные термины здесь не украшение, а инструменты, и у каждого есть точное значение.

\* \* \*

Последнее — правило чтения.

На этих страницах столкнутся два языка. Терминология кибернетики и нейробиологии впаяна в многовековой синтаксис Веданты. Это не стилистический сбой, а намеренная стереометрия. Современный язык позволяет точно описать клетку, в которой оказался человек. Древний язык дает ключи к тому, как переписать ее код. По отдельности они не работают.

Там, где академическая наука сказала бы «мистика», относитесь к тексту как к рабочей гипотезе и непроверенной физике. Не ищите здесь учителя. Проверяйте предложенную сборку жестко, с параноидальной придирчивостью аудитора, который ищет дыру в отчете. И проверяйте в единственной лаборатории, данные которой имеют вес, — в собственной жизни.

Диагноз не обязан быть вежливым. Чертеж не может быть скромным.

Маски сняты. Начнем.

## **Часть I. Иллюзия лифта**

*Почему попытка разбогатеть по правилам системы заканчивается в чужом кармане*

## Глава 1. Узурпатор в кресле директора

*Интеллект не крутит штурвал. Он пишет пресс-релизы для того, кто уже нажал на рычаг.*

### 1.1. Запоздалый пресс-релиз

Существует фундаментальная системная ловушка, в которую первыми и глубже всех проваливаются обладатели самого выдающегося аналитического аппарата. Когда преуспевающий резидент делового квартала — будь то старший партнер юридической фирмы, системный архитектор, инвестиционный банкир или основатель производственного холдинга — с ледяной уверенностью произносит: «Я просчитал риски» или «Я всегда принимаю решения самостоятельно», в его когнитивном контуре происходит критическая ошибка адресации. Оператор отождествляет себя с вычислительным прибором. При этом сам факт высокой тактовой частоты процессора играет против владельца: чем острее логика и шире эрудиция, тем изощреннее аргументация, с помощью которой взломанная система доказывает собственную непогрешимость. Быстрый ум строит стены своей камеры втрое прочнее, чем ум заурядный. Клетка получается герметичной.

В начале восьмидесятых годов двадцатого века нейрофизиолог Бенджамин Либет провел в Калифорнийском университете в Сан-Франциско серию экспериментов, которые пошатнули главный юридический и экономический миф западной цивилизации — миф о суверенном «генеральном директоре» внутри черепной коробки. Испытуемые в произвольный момент сгибали кисть и по быстро бегущей точке на экране осциллографа отмечали, когда возникло сознательное намерение; электроды над моторными зонами коры в это время записывали активность мозга. Либет обнаружил обескураживающий разрыв. Импульс подготовки движения — потенциал готовности (*Bereitschaftspotential*) — начинал нарастать примерно за триста пятьдесят миллисекунд до того, как человек осознавал, что «он» только что «решил» пошевелить рукой. Впоследствии нейроэндокринолог Роберт Сапольски масштабировал этот вывод до уровня всей человеческой биографии, проследив, как секунда до поступка детерминирована выбросом нейромедиаторов, часы до него — уровнем кортизола и глюкозы в крови, а годы — синаптической архитектурой, спаянной детскими травмами и культурным кодом.

Картина, открывающаяся на осциллографе, не оставляет камня на камне от корпоративного пафоса. То, что в мемуарах миллиардеров и на советах директоров принято гордо именовать «волевым стратегическим решением», при аппаратном замере оказывается всего лишь запоздалым пресс-релизом. Древний, дословный биохимический автопилот, руководствуясь страхом потери ресурса или голодом дофаминового вознаграждения, молча нажимает на рычаг в машинном отделении, а через полсекунды вверх, в префронтальную кору, спускается директива: срочно сгенерировать красивое, логически безупречное обоснование того, почему этот маневр был единственно верным. Интеллект не крутит штурвал. Он работает штатным пресс-секретарем при слепом инстинкте, задним числом подгоняя бухгалтерию под уже свершившийся факт. Подпись ставится на пустом бланке.

Именно поэтому образованный средний класс, свято верующий в собственную рациональность, представляет собой самую рентабельную мишень для алгоритмической манипуляции. Человека с примитивным словарным запасом трудно убедить в том, что тридцатилетняя ипотека под плавающий процент или скупка переоцененных акций на пике цикла — это вершина финансовой мудрости; но интеллектуалу достаточно подбросить три наукообразных графика, чтобы его собственный аналитический аппарат сам выстроил многоэтажную защиту

чужой наживки. Гордыня эрудита не позволяет ему допустить мысль о том, что импульс к покупке статуса был вброшен извне через примитивную уязвимость в лимбической системе.

Чтобы этот подлог никогда не всплыл наружу, в архитектуре головного мозга непрерывно гудит специализированный аппаратный контур, открытый нейробиологом Маркусом Райклом на рубеже тысячелетий и получивший название сети пассивного режима работы мозга — *Default Mode Network* (DMN). Стоит человеку отвлечься от узкой прикладной задачи — закрыть таблицу с финансовой моделью, отложить чертеж или встать в глухую вечернюю пробку на Кутузовском проспекте, — как расход энергии мозгом почти не падает. Мозг весит около двух процентов массы тела, а сжигает примерно пятую часть его энергии, и большая часть этой «темной энергии» уходит не на внешнюю задачу, а на внутреннюю работу. Стоит отвлечься — и вспыхивает распределенная сеть в медиальной префронтальной и задней поясной коре, занятая одним делом: круглосуточным автобиографическим сериалом.

Эта нейронная бетономешалка без единой секунды простоя перемалывает прошлые диалоги, додумывает несказанные реплики в давно проигранных спорах, репетирует будущие триумфы, подсчитывает чужие деньги и тревожно сканирует горизонт на предмет репутационных угроз. Именно непрерывный белый шум сети пассивного режима создает у субъекта плотную, вязкую иллюзию того, что в центре психики сидит некий монолитный, вечно озабоченный «хозяин». Ирония в том, что этого хозяина не существует как физического объекта; он возникает лишь как стробоскопический эффект от бешеного вращения самой мыслемешалки — подобно тому, как лопасти включенного вентилятора кажутся сплошным стальным диском, пока в розетку подается ток. Достаточно выдернуть вилку — и диск исчезает.

\* \* \*

Западная нейронаука двадцать первого века потратила миллиарды долларов на магнитно-резонансные томографы лишь для того, чтобы перевести на язык биохимии спецификацию, которая двадцать пять столетий назад была с хирургической точностью зафиксирована в индийской аналитической традиции. В системе саннья-йоги и Адвайта-веданты этот взбесившийся фоновый процесс носит техническое имя *Ахамкара* — буквально «делатель Я», фабрика самозванного авторства.

В исходной заводской комплектации биологического скафандра Ахамкара — не более чем скромная сервисная утилита, драйвер пространственно-социальной маршрутизации. Ее легитимная функция сводится к тому, чтобы утром привести белковое тело в собственный офис, а не за чужой рабочий стол, и не перепутать свою зубную щетку или банковскую карту с соседской. Это гиперактивный внутренний таможенник, стоящий на входном шлюзе восприятия и штампующий сургучной печатью «МОЕ» каждый проходящий по нервным волокнам электрический пакет: «мое тело», «моя должность», «мой блестящий интеллект», «моя эксклюзивная психологическая травма».

Аппаратная катастрофа разворачивается в тот момент, когда сервисный скрипт организует тихий государственный переворот и объявляет себя Сувереном. В терминологии информационной безопасности происходит классическая атака «человек посередине» (*Man-in-the-Middle*): промежуточный прокси-сервер, поставленный между внешним миром и ядром сознания, перехватывает весь трафик, подменяет сертификаты подлинности и начинает отвечать от имени Главного Администратора. Навигатор запирает капитана в трюме.

Ситуация до мельчайших деталей воспроизводит антиутопический курьез с системой «Умный дом», которая в результате программного сбоя обрела примитивную самореференцию. Вместо того чтобы бесшумно регулировать температуру теплого пола и влажность воздуха в гостиной, контроллер намертво заблокировал бронированную дверь в цокольный этаж, запер настоящего владельца особняка в темном подвале, привязал к себе его безлимитную платиновую карту и принялся круглосуточно заказывать доставку деликатесов, нанимать дизайнеров фасада и судиться с соседями за забор, искренне полагая, что все здание построено

ради процветания электронного термостата. При этом подлинный аналитический модуль рассудка — то, что в ведической инженерии именуется *Буддхи* (способность холодного различения истины и лжи), — попадает в полное рабство к узурпатору. Вычислительные мощности гигантского биокомпьютера снимаются с задачи поиска объективной реальности и бросаются на обслуживание комплексов взбесившегося плагина: как доказать собственную исключительность, как отжать чужой ресурс и как заштукатурить панический страх перед неизбежным отключением питания.

\* \* \*

Почему же обладатель высокого интеллекта не замечает этого рейдерского захвата внутри собственной головы и десятилетиями оплачивает счета своего тюремщика?

Исчерпывающее математическое уравнение этой слепоты выведено во второй главе «Йога-сутр» Патанджали и детально расшифровано в классическом комментарии «Вьяса-бхашья». Рассматривая корневые уязвимости сознания (*клеши*), Патанджали формулирует шестую сутру второй главы — несколько санскритских слов, каждое из которых весит как чугунная плита: «*Дрик-даршана-шактьор экатматевасмита*» — «Эгоизм (*Асмита*) есть мнимое тождество двух энергий: чистой способности видения (*Дрик-шакти*) и инструмента видения (*Даршана-шакти*)».

Чтобы оценить инженерную глубину этой формулы, достаточно развести два упомянутых компонента по разные стороны лабораторного стола. С одной стороны находится *Даршана-шакти* — оптический и вычислительный прибор рассудка (*Буддхи* в связке с *Ахамкарой*). Это сложнейшая материальная линза, способная фокусироваться на объектах, дробить мир на категории, строить финансовые прогнозы, испытывать гордость от побед и ужас от банкротств; но, будучи продуктом эволюции инертной материи (*Пракрити*), эта линза сама по себе абсолютно слепа и мертва, как объектив фотоаппарата, лежащий в темном футляре. С другой стороны присутствует *Дрик-шакти* (или *Пуруша* / *Сакиши*) — самосветящийся принцип Чистого Сознания, безмолвный Зритель, не имеющий ни формы, ни биографии, ни карьерных амбиций, ни страха смерти. Он просто светит.

Аппаратный баг *Асмиты* возникает тогда, когда луч чистого внимания проходит сквозь мутную, окрашенную страстями и памятью линзу рассудка и намертво склеивается с ней. Это происходит в кинозале IMAX, когда зритель в третьем ряду настолько гипнотизируется трехмерным грохотом батальной сцены, что полностью забывает о кресле под собой и начинает физически задыхаться, искренне веря, будто летящие с экрана осколки способны распороть его собственную плоть. При этом сам белый киноэкран — то, что в Адвайте обозначается категорией *Турия* (Четвертое, запредельное состояние неизменной основы), — становится абсолютно невидимым, поскольку каждую миллисекунду залит ядовитыми пикселями личной драмы.

Именно здесь обнаруживается вся беспомощность современной индустрии саморазвития, коучинга и корпоративной психотерапии, куда выгоревший представитель среднего класса несет миллионы в попытке «обрести внутреннюю опору» и «выйти на новый уровень масштаба». В середине двадцатого века философ Джидду Кришнамурти в небольшой работе «Свобода от известного» сформулировал приговор любым тренингам личностного роста в одной короткой, выбивающей почву из-под ног аксиоме: тот, кто пытается себя улучшить, и есть та самая проблема, которая нуждается в устранении.

Внутри зараженного контура не существует никакого светлого, «осознанного Я», которое могло бы спуститься с отверткой в машинное отделение и отремонтировать «токсичное, ленивое или тревожное Я». Оба этих персонажа — и грешник, срывающий дедлайны в приступе прокрастинации, и суровый внутренний инквизитор, покупающий очередной абонемент в спортзал и курс по медитации для повышения личной капитализации, — скомпилированы одной и той же программой-узурпатором. Попытка избавиться от эгоизма силами самого эгоизма напоминает намерение барона Мюнхгаузена вытащить себя из болота за собственные

волосы: чем яростнее субъект «прокачивает осознанность» ради победы в крысиных бегах, тем толще становятся прутья его золоченой клетки и тем больше калорий получает надзиратель. Ремонт клетки укрепляет тюрьму.

Фальшивый директор никогда не подпишет приказ о собственном увольнении. Напротив, при малейшей попытке аудита он мгновенно переводит систему в осадное положение и поднимает в ружье эшелонированную охрану.

## 1.2. Две маски и пять контуров обороны

Любой вредоносный код, захвативший привилегии ядра, первым делом решает задачу собственной маскировки. Узурпатор действует на сознание через двухслойную архитектуру, где верхний ярус представляет собой бронированную витрину для внешней публики, а нижний — уютную терапевтическую сказку, которую оператор на ночь рассказывает самому себе. Ирония конструкции состоит в том, что оба этих слоя переживаются изнутри как неделимая, выстраданная личность, хотя ни один из них не имеет к подлинному Субъекту ни малейшего отношения.

Первая маска — это рекламный билборд, выставленный на ярмарку статусов. У мужской модификации свои безошибочно считываемые пиксели: звучная должность на тисненой визитке, платиновый уровень лояльности авиакомпаний, безупречная посадка неаполитанского кроя, увесистая прохлада швейцарского калибра на запястье и черный лак немецкого автопрома у парадного подъезда. На определенной высоте социального эскалатора плебейская потребность выкладывать фотографии в публичные сети отмирает — двери в нужные кабинеты открываются без стука, а метрдотели закрытых ресторанов встречают гостя по имени-отчеству. Но голод по чужому восхищению никуда не исчезает; он лишь меняет раму зеркала с дешевого пластика на мореный дуб. Небрежно уроненная за вечерним бокалом фраза: «Звонили сверху, предлагали кресло, но я отказался...» — сопровождается снайперски выверенной микропаузой, позволяющей сотрапезникам сполна ощутить гравитацию этого отречения. Каждый вечер кто-то живой из узкой ложи «своих» обязан работать экраном, подтверждающим реальность триумфа.

Женская модификация интерфейса собирается из иных графических элементов, но компилируется на том же самом движке. Здесь на витрину выставляется иллюзия играючи достигнутой, невесомой безупречности: филигранная эстетика независимости, фасад «успевающего всё» жесткого тайм-менеджмента, агрессивный биохакинг, демонстративно отменяющий биологию возраста, и чуть прищуренный, снисходительно-оценивающий взгляд. Оба фасада круглосуточно транслируют в окружающее пространство одну и ту же немую директиву: «Перед миром — абсолютная ценность».

Между этими глянцевыми масками и генерирующей их программой-эго (*Ахамкарой*) не существует физического зазора — точно так же, как нет зазора между дискретной видеокартой и трехмерным изображением на мониторе. На уровне низкоуровневой физики сознания Программа и есть эти Маски. Движок безостановочного присвоения «это — мое» каждую миллисекунду рендерит в оперативной памяти социальную голограмму; и если принудительно обесточить сам процесс этого присвоения, маски не упадут на паркет подобно папье-маше в гримерке. Они просто мгновенно погаснут прямо в воздухе, поскольку сотканы из того же самого электричества. Растворятся вместе со зрителем.

\* \* \*

Чтобы оператор никогда не нащупал в темноте рубильник и не выдернул шнур из розетки, Программа разворачивает вокруг себя эшелонированный корпоративный антивирус — пять контуров активной обороны. Механизм всемогущ и исключительно в стелс-режиме; стоит навести на его шестеренки прямой луч холодного внимания, как гипноз рассыпается в пыль.

Вся эта оборонительная фортификация работает по чертежу подземного банковского хранилища высшей категории защиты, единственная и самая страшная коммерческая тайна которого заключается в том, что центральный сейф абсолютно пуст. Задача вооруженной охраны на периметре — не сберечь золотые слитки, которых там никогда не было, а любой ценой не допустить аудитора к распахнутой пустой двери. Для этого все пять защитных систем включаются одновременно.

**Первый контур защиты — Страх.** В архитектуре хранилища он выполняет функцию ревушей пожарной сирены. Этот звук не парализует мышцы на три минуты, чтобы спасти тело от хищника; он держит нервную систему за горло десятилетиями, элегантно маскируясь на тренингах для руководителей под благородным псевдонимом «амбициозная мотивация». У этой сирены два щупальца: животный эгоизм (панический ужас потерять ликвидность, номенклатурный вес и иллюзию контроля) и фундаментальное невежество (звнящая пустота на месте ответа на вопрос, кто останется в кресле, если содрать с кожи все статусные регалии). Первое щупальце заставляет впиваться пальцами в подлокотники мертвой хваткой, второе — не дает разжать челюсти. На уровне нейробиологии хронический гул этой сирены непрерывно заливает кровоток кортизолом, который со временем физически выжигает нейроны префронтальной коры и раздувает миндалевидное тело — центр слепой тревоги. Оператор анатомически утрачивает способность к стратегической паузе, превращаясь в загнанного зверя, мечущегося по коридорам под вой датчиков.

**Второй контур защиты — Чувство собственной важности.** Когда психика устает от животного страха и нуждается в компенсации внутренней пустоты, перед сейфом опускаются монументальные, отлитые из легированного титана бронированные двери. Имя этому сплаву — Важность.

Кабинет управляющего партнера на четырнадцатом этаже столичного бизнес-центра класса «А». Семь дипломов в тяжелых рамах, выстроенных по хронологическому ранжиру, словно корпоративный иконостас; совместная фотография с действующим федеральным министром, как бы случайно, но с геодезической точностью развернутая под углом в сорок пять градусов аккурат к креслу посетителя; корешки редких изданий на полках, расставленные так, чтобы входящий непременно считал фамилии авторов, с которыми хозяин кабинета запросто пьет односолодовый виски по пятницам. Весь этот мемориальный комплекс выстроен вовсе не для клиентов — те приходят решать конкретные задачи по спасению активов и совершенно равнодушны к чужим грамотам. Интерьер работает как капельница социального морфия для самого владельца кабинета. Это ежедневный, беззвучный аппаратный пинг к реальности: «Я значим. Я существую».

Вместе Страх и Важность образуют намертво замкнутую кибернетическую петлю. Важность загоняет фигуру в позиционный цугцванг, где любой шаг назад или признание ошибки означает фатальную потерю лица перед стаяй, а Страх алгоритмически минует все пути к тактическому отступлению. Возникает безжалостная обратно пропорциональная зависимость: чем выше забирается человек по властной вертикали, тем толще бетонные своды его персонального саркофага, по кирпичику сложенного из его же прошлых побед.

\* \* \*

**Третий контур защиты — Доза.** Безостановочное обслуживание титанового фасада при включенной сирене неизбежно приводит к перегреву процессора, и тогда по вентиляционным шахтам хранилища пускают синтетический веселящий газ. Взбесившейся системе не нужен хирургический скальпель, чтобы вскрыть абсцесс, — ей требуется анестетик, способный заткнуть рот воющему симптому.

У тех, кто видит изнанку корпоративных и государственных механизмов слишком отчетливо — со всеми теневыми потоками, цепочками субподрядов и математической неизбежностью грядущего обвала, — это избыточное знание, лишенное права повлиять на курс корабля,

к вечеру кристаллизуется в чистый нейротоксин. Вечерний бокал в таком раскладе работает не как гедонистическая прихоть, а как жидкий изолятор, временно гасящий искрящую проводку. Для более наивных предусмотрен другой, нематериальный сорт наркоза — религия «отложенного завтрашнего дня»: негласный договор с собой о том, что текущий хаос нужно просто перетерпеть на сжатых зубах, а настоящая, полнокровная жизнь начнется сразу после закрытия квартальной сделки, получения партнерской доли или покупки дома у воды. В деловой кунсткамере десятки подобных биографий обрываются по одному и тому же шаблону: внезапный отрыв тромба или обширный инфаркт в сорок три, сорок восемь или пятьдесят пять лет. Лимит отпущенного биологического времени сгорает раньше, чем держатель успевает предъявить к оплате вексель на свое «завтра».

Однако самая массовая и дешевая Доза двадцать первого века не плещется в хрустальном декантере. Два часа ночи. Мертвенное синеватое свечение смартфона, выхватывающее из темноты спальни неподвижное лицо. Бесконечный вертикальный конвейер чужих разводов, громких арестов, авиакатастроф и обрушений рынков согревает измотанную психику мелким, подленьким теплом: пока горит соседний квартал, собственная камера кажется почти безопасной.

В середине прошлого столетия гарвардский бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер, экспериментируя с голубями и крысами в изолированных камерах, открыл фундаментальный закон взлома дофаминовой цепи — режим вариативного (непредсказуемого) подкрепления. Если животное получает гранулу корма при каждом нажатии на рычаг, оно быстро насыщается и теряет интерес к механизму; но если кормушка выдает награду случайным образом — то на третий раз, то на двадцатый, то после серии пустых щелчков, — подопытный зверь начинает бить лапой по педали с маниакальным остервенением вплоть до полного физического истощения. Современная лента коротких видео и новостных сводок — это портативный «ящик Skinнера», отмасштабированный на миллиарды человеческих особей, где каждый свайп большим пальцем вниз представляет собой нажатие на рычаг игрового автомата в надежде выбить микроскопическую искру дешевого дофамина.

**Четвертый контур защиты — Эрозия внимания.** Первые три барьера теоретически поддаются демонтажу: сирену страха можно обесточить, если заблокировать рефлекс бегства и шагнуть навстречу угрозе; титановую важность — расплавить честным взглядом на собственную ничтожность перед лицом времени; подачу дофаминового газа — перекрыть жестким волевым карантинном. Но для любой из этих операций необходим один сверхдефицитный инструмент — сфокусированный лазерный луч внутреннего внимания.

Чтобы этот луч никогда не смог зафиксироваться на замочной скважине пустого сейфа дольше трех секунд, под потолком хранилища включается каскад ослепляющих стробоскопов. При малейшей попытке остановить внутреннюю беготню и удерживать фокус хотя бы на собственном дыхании, сеть пассивного режима мозга поднимает яростный бунт уже на сороковой секунде: в оперативную память мгновенно вбрасываются невыплаченные счета, забытые звонки, старые обиды и фантомные боли. Некогда грозный аналитический клинок на поверку оказывается ржавым перочинным ножом, не способным удержать одну координату без внешних костылей. А чтобы жертва не заметила этой когнитивной инвалидности, вокруг нее заботливо возводится индустрия «гиперпродуктивности», обучающая единственному трюку: как крутить педали тренажера с удвоенной каденцией и ослепительной улыбкой, ни в коем случае не поднимая глаз на то, что сам тренажер намертво привинчен к полу тонущей баржи.

**Пятый контур защиты — Проекция Тени.** Даже если оператор чудом прорывается сквозь вой сирен, броню важности, дурман дозы и вспышки стробоскопов, на последнем рубеже перед пустым сейфом его встречает система внешних голографических мишеней.

В юридической и управленческой практике регулярно встречаются люди, получившие на старте воплощения королевский набор карт: неисчерпаемые финансовые лимиты, доступ в высокие кабинеты, звериное здоровье и острый, хищный ум. Титанический аппаратный потен-

циал — и абсолютный ноль на выходе. В их бухгалтерских балансах дебет с кредитом сходятся до копейки, но в графе «экзистенциальный смысл» зияет черная дыра. И у каждого такого игрока в нагрудном кармане обязательно лежит отполированный до блеска, непробиваемый алиби-кейс: в бездарной растрате собственного дара всегда виновата токсичная среда, безумные регуляторы, налоговый пресс, геополитика или «рабский менталитет народа». Те самые неуловимые и всемогущие «ОНИ», которые украли будущее и не дали развернуться гению.

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг обозначил этот автономный кластер вытесненного бессознательного коротким термином — Тень. Взломщик внутри головы собирает весь собственный непереваренный психологический шлак — малодушную трусость шагнуть за флажки, тайную жажду украсть и не попасться, паразитическое желание ехать на чужом горбу — и, словно мощный кинопроектор, транслирует эту грязь на лица окружающих людей и целых социальных институтов. Бездонная алчность всегда громче всех обличает чужую коррупцию; тщательно спрятанное предательство себе яростнее прочих требует люстраций и трибуналов. Программа никогда не подпишет признание в наличии собственной Тени, поскольку такой акт мгновенно обрушит парадную витрину «рыцаря в белом пальто». Вместо этого она выдает оператору деревянный меч и отправляет его в пожизненный крестовый поход против зеркал.

Контур обороны замыкается без единой щели. Оглушенный сиреной страха, замурованный в титан собственной важности, накачанный вечерним анестетиком, ослепленный стробоскопами многозадачности и ведущий изматывающий бой с голограммами внешних врагов, человек десятилетиями охраняет бронированную дверь, за которой нет ничего, кроме сквозняка. И чем больше нулей прибавляется на его банковских счетах, тем отчетливее этот сквозняк начинает завывать по ночам.

### 1.3. Парадокс осажденной крепости

Эксплуатационная стоимость круглосуточно работающей оборонительной системы не фигурирует ни в одной налоговой декларации, хотя сжигает больше киловатт-часов жизненной энергии, чем металлургический комбинат. Помнить, кому, когда и под каким соусом была подана отредактированная версия событий; удерживать каменную невозмутимость лицевых мышц, пока под ребрами воет пожарная сирена; просчитывать аппаратный вес каждого рукопожатия и маниакально дирижировать чужими оценками — это каторжная, неоплачиваемая смена без выходных. К тридцати годам такая амортизация выписывает оператору премию в виде хронической бессонницы, к пятидесяти — заботливо бронирует именную палату в отделении кардиологии. Человеческий носитель ломается вовсе не от природной хрупкости. Просто аренда монументального фасада обходится слишком дорого.

Как именно живой, мыслящий субъект доходит до состояния, в котором штукатурка полностью замещает несущие стены? Вектор этой эрозии раскладывается на три математически точных пролета социальной лестницы: Бытие, Обладание и Видимость.

Двадцать четыре года. Тесная съемная квартира на продуваемой окраине мегаполиса, где за тонкой перегородкой слышен чужой телевизор. Молодой специалист с воспаленными от недосыпа глазами до утра сводит чужие балансы или переписывает архитектуру программного модуля, чтобы закрыть горящий проект. На кухонном столе — аскетичный натюрморт эпохи первичного накопления: хлеб, пачка дешевых пельменей, остывший чай. Финансовый ресурс близок к статистической погрешности, но внутри звенит удивительная, пуленепробиваемая плотность существования. Оператор еще не изображает движение и не торгует статусом — он непосредственно вгрызается в сопротивление материи. Это чистая фаза Бытия.

Тридцать два года. Юбилей в закрытом зале ресторана, где один вечерний счет равен полугодовой аренде той первой окраинной квартиры. За длинным столом собралась сотня тщательно отфильтрованных гостей, приглашенных засвидетельствовать вертикальный взлет. Зву-

чат витиеватые тосты о масштабе личности; виновник торжества принимает их с усталой, чуть снисходительной полуулыбкой посвященного. В этот вечер происходит тихая, почти неуволимая подмена: тяжесть хрустального декантера в руке рождает галлюцинацию, будто владельца этого стола разделяет онтологическая пропасть с курьером, греющим руки у ларька с шаурмой напротив входа. Каждая закрытая сделка, каждый чек из бутика и даже успехи собственных детей, выставляемые на обозрение с прозрачным инвестиционным подтекстом («породистый генофонд»), превращаются в алиби для внешних аудиторов. Энергия больше не идет на внутреннее горение — вся мощность генератора переброшена на круглосуточную иллюминацию витрины. Наступила фаза Обладания.

Сорок пять лет. На этой отметке типажи становятся пугающе неотличимыми, словно сошедшими с одной пресс-формы. Построен второй загородный дом, в котором никто не живет дольше двух выходных в году; технически безупречный автомобиль сдается в трейд-ин исключительно потому, что концерн выпустил рестайлинг кузова, а правила стаи не прощают устаревшей оптики. Снаружи выстроена безукоризненная декорация триумфа, но внутри, в образовавшемся вакууме свободного времени, внезапно становится оглушительно тихо. Пока шла битва за выживание и первичную ипотеку, экзистенциальный сквозняк надежно заглушался грохотом отбойных молотков и горящими дедлайнами. Теперь же финишная ленточка сорвана, все предписанные рекламным каталогом вершины взяты, а липкая, сосущая тревога под ложечкой не только не исчезла — она заполнила собой весь объем комнаты. Это терминальная станция маршрута — стадия чистой Видимости.

\* \* \*

В предельных клинических случаях программа-узурпатор утрачивает всякое чувство меры и начинает отливать внутреннюю пустоту в тоннах бронзы и мрамора.

Пятиэтажная архитектурная аномалия в элитном поселке площадью далеко за тысячу квадратных метров. В центре пустынного зала с десятиметровыми сводами и гулким, как в соборе, эхом возвышается беломраморная статуя ангела выше человеческого роста, над безмятежным ликом которой почему-то нависают зеркальные клубные диско-шары и концертные фермы прожекторов. Стены увешаны бархатными стягами, новодельными дворянскими гербами и скрещенными кавалерийскими саблями, а за тяжелой дубовой дверью скрывается обставленная с леденящей серьезностью зала для «посвящения в рыцари»: безмолвный манекен в парадном мундире, тусклое золото старинных окладов, массивные канделябры и прижизненный бронзовый бюст самого владельца особняка с выбитой на постаменте эпитафией: «Заслуженный меценат». Грудь хозяина этого зиккурата на протокольных приемах ломилась от орденов всевозможных общественных академий и казачьих войск, ни один из которых не имел отношения к реальным боевым или научным заслугам.

С точки зрения системной инженерии перед наблюдателем — вовсе не повод для фельетонной насмешки, а точное физическое уравнение. Внутренний вакуум не терпит разрежения: чем шире и чернее экзистенциальная дыра в груди оператора, тем более тяжелые, гротескные декорации требуются программе, чтобы уравновесить это давление снаружи. Прижизненные пантеоны никогда не строит тот, кто ощущает под ногами твердую почву реальности; их в панике возводит узел, потерявший связь с сервером и отчаянно кричащий в равнодушное пространство своим золоченым гипсом: «Заметьте! Подтвердите, что я существую!».

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Задолго до появления нейромаркетинга и социальных сетей Иван Бунин с безжалостностью патологоанатома препарировал этот морок в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Безымянный американский делец, пятьдесят восемь лет без продыху перемалывавший жизнь в долларовые купюры, десятилетиями откладывал само бытие на пыльные антресоли, искренне полагая, что все эти полвека были лишь черновиком, увертюрой, а вот теперь, на борту сверкающего трансатлантического лайнера «Атлантида», он наконец-то «приступает к жизни». Финал бунинского протокола безупречен в своей докумен-

тальной сухости: коммерсант скоропостижно умирает от разрыва сердца прямо в читальном зале, так и не успев надорвать подарочную ленту со своего долгожданного отпуска. Остывшее тело без лишних сантиментов спускают на самое дно сырого трюма в длинном ящике из-под содовой воды, чтобы не портить аппетит и настроение публике первого класса, а на верхней, залитой огнями палубе как ни в чем не бывало продолжает греметь оркестр, льется шампанское и кружатся в танго пары. Великий Спектакль никогда не ставят на паузу из-за того, что со сцены вперед ногами вынесли очередного статиста.

Сто три года спустя, в 2018-м, с самой вершины глобальной пирамиды успеха пришли новости, от которых вздрогнули миллионы. С интервалом в несколько недель ушли из жизни Энтони Бурден, звезда гастрономии и телевидения, чья работа казалась воплощенной мечтой; Кейт Спейд, построившая модную империю стоимостью в сотни миллионов долларов; и двадцативосьмилетний Тим Берглинг, известный миру как *Avicii*. У каждого была своя история и своя болезнь, и сводить их к одной формуле было бы ложью. Но для тех, кто карабкается снизу, вывод жесткий: ни деньги, ни слава, ни вершина рейтинга не защищают от тьмы. Депрессия — болезнь, а не слабость характера, и лечат ее врачи, а не новые трофеи. Морковка, ради которой толпа бежит в гору, наверху оказывается пластиковой.

\* \* \*

Именно на этом витке спирали во весь рост встает **парадокс осажденной крепости**.

Когда крупный предприниматель или высокопоставленный функционер, выигравший свою войну за ресурсы, возводит вокруг загородного поместья пятиметровый бетонный забор, натягивает по верху инфракрасные датчики периметра и выставляет у кованых ворот смену вооруженной охраны с автоматическим оружием, он убежден, что покупает себе и своей семье абсолютную безопасность. На практике же архитектура безопасности незаметно мутирует в архитектуру клинической паранойи. Чем выше бетонная стена и плотнее кольцо телохранителей, тем острее и беззащитнее чувствует себя запертое внутри животное.

Бетонный периметр безупречно отсекает уличных грабителей и конкурентов, но в первую же бессонную ночь выясняется обескураживающая деталь: пятиметровый забор абсолютно прозрачен для панических атак, тахикардии, ледяного пота в четыре утра и звенящего ощущения бессмысленности всего построенного. Главный террорист и взломщик оказался заперт внутри бункера вместе с хозяином. От собственного ума охрану с пулеметами у кровати не выставишь.

И тогда этот матерый, прошедший сквозь огонь арбитражных войн и силовых поглощений хищник в панике бросается скупать индульгенции на духовном базаре. В особняк завозятся тибетские поющие чаши и редкие благовония; выписываются за баснословные чеки просветленные гуру и корпоративные коучи по «квантовому дыханию»; арендуется частный борт до Лимы, чтобы под присмотром перуанских шаманов в сельве Амазонки выпить отвар аяваски и за одни выходные принудительно перезагрузить зависший биокомпьютер. Оператор, привыкший решать любой вопрос покупкой подрядчика, пытается провести реструктуризацию своего экзистенциального банкротства через офшор шаманизма — получить внутреннюю тишину по безналичному расчету, не меняя ни одной строчки в собственном паразитарном коде. Рынок эзотерических услуг с восторгом принимает оплату, нежно массирует воспаленную *Ахамкару*, выдает клиенту новую, еще более дорогую маску «духовно пробужденного лидера» — и отправляет обратно в золоченую камеру до следующего ночного приступа.

Впрочем, у читателя, еще не построившего свой пятиметровый забор на Рублевке или Лазурном берегу, в этой точке неизбежно возникает трезвое, циничное возражение. Страдания пресыщенных мультимиллионеров в их мраморных усыпальницах выглядят поучительно, но для начала неплохо бы самому забраться на этот верхний этаж, заработать свой первый десяток миллионов долларов, обеспечить тылы — а уж потом, на досуге, разбираться с тонкими настройками *Буддхи* и пустотой сейфа.

Это возражение бьет в самую суть современной экономической мифологии. Прежде чем переходить к чертежам перепрошивки сознания, необходимо спуститься с небес метафизики на грешную землю балансовых отчетов и проверить на прочность саму фундаментальную аксиому, ради которой средний класс добровольно сжигает свою единственную жизнь в топке корпораций. А существует ли вообще тот самый «социальный лифт», билеты на который круглосуточно продают деловые медиа, — или шахта изначально замурована бетоном, а история про гениев из гаража — такая же витрина, как фотография с министром на четырнадцатом этаже?

**Сухой остаток.** Интеллект не крутит штурвал — он пишет пресс-релизы для того, кто уже нажал на рычаг. Чем острее ум, тем прочнее он строит стены собственной камеры.

**Протокол.** Три раза за неделю — после решения, которым принято гордиться, — оператор задает себе один вопрос: «Что поднялось внутри за секунду до того, как я придумал объяснение?» Ответ — одно слово: страх, жадность, обида, желание понравиться. Без оправданий и без выводов. Только запись.

## Глава 2. Миф о self-made и физика больших денег

*Большие капиталы не зарабатывают в слое исполнения. Их назначают у трубы.*

### 2.1. Сказка про гараж и труба DARPA

Бетонная пробка в шахте социального лифта отлита по передовым стандартам промышленного дизайна, а ее нижняя плоскость заботливо оклеена фотообоями с калифорнийским небом. Каноническая икона современного капитализма всегда пишется теплыми, ламповыми красками: залитый солнцем пригород Пало-Альто или Лос-Альтоса, поднятые ворота отцовского гаража, сизый дымок канифоли над паяльником и двое взъерошенных студентов в вытянутых свитерах, собирающих на верстаке между газонокосилкой и велосипедом прототип будущей триллионной империи. Декорация проста. Посыл бьет прямо в подкорку. Между амбициозным одиночкой с горящими глазами и верхними строчками глобального рейтинга миллиардеров якобы не существует никаких сословных рвов, закрытых допусков и аппаратных шлагбаумов — есть только чистое поле свободного рынка, где побеждает самый дерзкий код и восемнадцатичасовой рабочий день.

У этой планетарной постановки выстроена полноценная, герметичная теология со всеми атрибутами тоталитарного культа. Верховные жрецы нового пантеона — небожители с обложек *Forbes* и лощенные венчурные менторы в черных водолазках, чьи отфильтрованные биографии читаются паствой как жития святых, а короткие твиты заменяют утреннюю молитву. Священное писание культа — бесконечные полки деловых бестселлеров, гарантирующих экономическое спасение через декомпозицию целей, жесткую постановку квартальных KPI и монетизацию каждой минуты. Литургия этого храма отправляется ежедневно: агрессивный нетворкинг в стеклянных атриумах, питч-сессии перед холодными глазами инвестиционных комитетов и ритуальное распятие восьмичасового сна на кресте горящих дедлайнов. Паства рангом ниже возводит собственные часовни из подручного цифрового материала — выверенных публикаций из бизнес-залов аэропортов, фотографий стаканчика спешелти-кофе рядом с раскрытым ноутбуком и глубокомысленных подписей про выход из зоны комфорта.

В этой религиозной оптике кардинально переписан сам реестр смертных грехов. Подлость, институциональное предательство или хищническое выжигание субподрядчиков давно выведены из-под морального трибунала и переименованы на корпоративном новоязе в «бизнес-хватку», «гибкость мышления» и «масштабирование процессов». Единственный непрощаемый грех матрицы — неэффективность. Кассовый разрыв. Социальная невидимость. Современная индульгенция охотно спишет сломанные судьбы и выжженную землю, если в итоговой строке годового баланса зафиксирован двузначный рост капитализации, но она никогда не простит попытку остаться в стороне от гонки. Культ гипнотически транслирует в миллионы воспаленных умов одну директиву: сожми зубы, заложи квартиру, сожги нервную систему в стартапе, доберись до платинового раунда — и невидимая рука рынка вознесет праведника на вершину пищевой цепи.

Однако при переводе этой голливудской агиографии на сухой язык макроэкономической статистики и балансовых ведомостей гаражный мираж рассыпается в пыль. Достаточно применить к витрине западного процветания холодный логический скальпель Александра Зиновьева, препарировавшего западное сверхобщество без идеологического наркоза. В книгах «Запад» и «На пути к сверхобществу» Зиновьев зафиксировал то, о чем не принято говорить в бизнес-школах: доля крупных состояний, созданных по хрестоматийным рецептам Адама Смита и Фридриха Хайека — за счет честного труда, бережливости и победы в открытой рыночной конкуренции, — статистически ничтожна и колеблется в пределах арифметической

погрешности. Свободный рынок из либеральных учебников — идеологическая резервация для низов. Миллионы владельцев кофеен, мелких производств, региональных юридических практик и крошечных IT-студий действительно варятся в кислотном бульоне дарвиновской конкуренции, сбивая друг другу рентабельность до уровня физического выживания. Но большой капитал в этой песочнице не зарождается в принципе.

Сверхкрупные состояния формируются исключительно там, где конкуренция принудительно отключена административным, военным или эмиссионным рубильником. Как утверждал Зиновьев, зрелая западная экономика управляется не мифическим потребительским спросом, где покупатель диктует корпорациям, что производить, а жестким диктатом предложения сверху вниз. Ни персональные компьютеры, ни сотовая связь, ни интернет, ни глобальные платежные шлюзы не возникали как стихийный ответ на запросы обывателя. Они проектировались в закрытых штабах как инфраструктурные контуры контроля и распределения ресурсов, после чего принудительно устанавливались в быт сотен миллионов людей через кредитные поводки и медиа-артиллерию. В высшей лиге «денежного тоталитаризма» капиталы не зарабатываются упорным трудом в слое операционного исполнения — они назначаются внутри замкнутого симбиоза спецбюджетов и финансовых конгломератов.

Реальная генеалогия американского технологического чуда не имеет ничего общего со студенческой романтикой паяльника и гаражной двери. Ее первый несущий этаж был заложен в 1945 году в ходе секретной операции «Скрепка» (*Operation Paperclip*), когда американские спецслужбы вывезли из поверженной Германии более полутора тысяч ведущих ученых, конструкторов ракет команды Вернера фон Брауна, авиационных инженеров и химиков вместе с эшелонами трофейных патентов. Второй, главный этаж этой пирамиды был запущен в 1958 году указом президента Эйзенхауэра, учредившего внутри Пентагона Управление перспективных исследовательских проектов — ARPA, позже переименованное в **DARPA**.

Архитектура DARPA — эталонный образец военной кибернетики, полностью обнуляющий сказку о частной венчурной инициативе. Ядро агентства — около ста руководителей программ, распределяющих многомиллиардные бюджеты Министерства обороны США по сотням внешних подрядчиков, университетских лабораторий уровня Стэнфорда и MIT и закрытых исследовательских центров. Когда в 1999 году к этому контуру добавился венчурный фонд ЦРУ *In-Q-Tel*, труба государственного финансирования замкнулась в конвейер. Экономист Мариана Мащукато в книге «Предпринимательское государство» (2013) разобрала смартфон по деталям — и почти на каждом ключевом узле нашла клеймо госзаказа. Протоколы пакетной маршрутизации и оборонная сеть ARPANET, спутниковая навигация GPS, емкостные мульти-тач-экраны, голосовые ассистенты и трехмерные картографические движки компании Keyhole, ставшие основой Google Earth, — весь этот базовый стек десятилетиями создавался за казенный счет. На этапе фундаментального поиска, где девять из десяти разработок упираются в тупик, колоссальные убытки списываются на бюджет национальной обороны. Частный инвестор на эту стройку даже не заходит.

Но когда военная разработка созревает для планетарного масштабирования — особенно там, где требуется тотальный сбор биометрических, поведенческих и геолокационных данных населения Земли, — прямое присутствие Пентагона или АНБ на корпусе прибора становится токсичным. Ни один обыватель или иностранный чиновник не станет добровольно носить в кармане круглосуточный пеленгатор с микрофоном и камерой, если на этикетке выгравирован орел Министерства обороны США, а в лицензионном соглашении прямо прописана военная разведка. Казенное клеймо компрометирует гражданскую экспансию.

Для снятия этого противоречия в военно-разведывательном комплексе был отлажен кибернетизированный протокол транзита технологий в коммерческую сферу. Готовая разработка упаковывается во внешне независимую частную корпорацию. В ее совете директоров неизменно садятся непубличные кураторы — наследники управленческой школы Роберта

Макнамары, шагнувшего из кресла президента *Ford* на пост главы Пентагона и далее во Всемирный банк, — а основные пакеты акций перекрестно замыкаются в руках «Большой тройки» институциональных фондов (*BlackRock, Vanguard, State Street*). А на залитую софитами сцену для биржевой толпы выводится тщательно отобранный по психофизическим параметрам персонаж — **витринный фронтмен**.

Институт фронтменов работает по старому правилу фокусников: главное действие скрывают широким отвлекающим жестом другой руки. Публике рассказали студенческую легенду про Марка Цукерберга в серой футболке, собравшего *Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) в общежитии Гарварда. Доказательств того, что сеть заказала разведка, нет, и выдавать версию за факт здесь никто не будет. Но доказанное красноречиво само по себе. В 2013 году Эдвард Сноуден предъявил документы программы PRISM: Агентство национальной безопасности США получало доступ к данным пользователей крупнейших американских платформ, *Facebook* в их числе. А через три года на фотографии из кабинета создателя «глобальной сети открытости» внимательные зрители разглядели ноутбук, у которого камера и микрофон заклеены скотчем. Тот, кто построил машину сбора чужих данных, лучше других знает, как она работает.

По тем же лекалам скроены биографии остальных титанов Кремниевой долины. Джефф Безос, которого пресса подает как скромного продавца книг из сиэтлского гаража, до запуска *Amazon* был старшим вице-президентом *D. E. Shaw* — хедж-фонда, торгующего по математическим моделям, а среди крупнейших заказчиков его облачной империи AWS — ЦРУ (контракт 2013 года на шестьсот миллионов долларов) и Пентагон. Еще нагляднее этот механизм в случае Илона Маска. Если сложить открытые контракты, фигура, которую массовая культура возвела в ранг одинокого железного человека, выглядит витриной стратегического контура безопасности США: без технологий и контрактов NASA, военных заказов на вывод спутников, оборонного *Starshield* и государственных субсидий эта империя не выросла бы. Фронтмен не владеет базовой технологической трубой — даже у Билла Гейтса в *Microsoft* осталась лишь однозначная доля акций против пакетов фондов-гигантов. Задача фронтмена — работать дружелюбным графическим интерфейсом (GUI), экранирующим холодную сталь серверных стоек Левиафана.

В терминах кибернетики Стаффорда Бира и ведантической философии здесь действует двухтактный привод иллюзии (*Майи*). Первый такт — экранирование (*Аварана-шакти*): от общества надежно скрывается реальный контур *S5* и *S3*, где безымянные стратеги спецслужб и эмиссионных центров верстают технологические уклады на десятилетия вперед. Второй такт — голографическая проекция (*Викшепа-шакти*): поверх закрытого оборонного подрядчика рендерится дофаминовый образ миллиардера-бунтаря, запускающего родстер к Марсу и раздающего советы о сточасовой рабочей неделе.

Эта оптическая машина решает сразу две стратегические задачи управления. Первая обращена внутрь среднего класса: она канализирует кипящую энергию страсти и амбиций (*Раджас*), направляя миллионы талантливых людей в заведомо тупиковый коридор. Поверив, что Маск или Безос взлетели на Олимп исключительно силой личного ума и упорства, инженер, юрист или основатель локального бизнеса добровольно впрягает собственную *Ахамкару* в ярмо корпоративной гонки. Он десятилетиями жжет нейроны, берет кредиты под залог единственного жилья и строит стартапы, которые при первом же успехе будут за бесценок поглощены профильной монополией или раздавлены патентным правом старших операторов. Гаражный миф заставляет тяглового юнита крутить педали с утроенным остервенением, веря, что в конце смены ему выпишут дарственную на электростанцию.

Вторая задача спектакля носит геополитический характер и обеспечивает демонтаж института классического государства. Достаточно сопоставить две картинки на глобальном экране. Слева — харизматичные, подтянутые фронтмены корпораций, сажающие ракетные

ускорители на морские платформы и вживляющие нейрочипы. Справа — официальные лидеры западных государств, подобранные кастинг-директорами по законам политической буффонады: карикатурно взъерошенный, застревающий на тросе Борис Джонсон или теряющий перфокарту в пространстве, здоровающийся с пустотой Джо Байден, словно скопированный из пародийной комедии «Горячие головы».

В кибернетике управления массами такие контрасты не бывают случайными. Когда населению ежедневно транслируют нелепых, запинаящихся президентов и премьеров на фоне «гениальных визионеров» частных корпораций, в коллективном сознании формируется безальтернативный запрос. Национальное государство с его громоздкими конституциями, социальными гарантиями, судами и границами начинает считываться как прогнивший, маразматический анахронизм. Обыватель сам начинает мечтать о том, чтобы сдать неповоротливую государственную машину в утиль и передать прямую власть над планетой «эффективным» технокорпорациям.

Впрочем, в этой точке у трезвого резидента бизнес-класса остается последний рубеж внутренней защиты. Пусть триллионный Олимп Кремниевой долины — это закрытый театр Пентагона, куда посторонним вход заказан. Но ведь для личной независимости не обязательно запускать спутники и тягаться с *DARPA*: достаточно работать в понятной рыночной нише, зарабатывать живую прибыль, копить твердую валюту и приумножать капитал в надежных инструментах. Чтобы проверить, существует ли еще эта тихая гавань, придется спуститься этажом ниже — и взглянуть на то, во что превратилась сама физика денег после того, как в августе 1971 года у мировой финансовой машины сорвали последний тормоз.

## 2.2. Эпоха сломанных денег и гравитация Кантильона

Тормозной контур мировой финансовой машины срезали не автогеном в темном подвале, а росчерком пера в прямом телевизионном эфире, но последствия этого демонтажа лучше всего видны в пыльных папках арбитражных дел о банкротстве. Столичное отделение одного из крупнейших банков страны открывает производственному подрядчику две целевые кредитные линии: первую — на семьсот тридцать пять миллионов рублей, вторую — еще на миллиард и семьсот миллионов. Пикантность ситуации заключается в том, что у заемщика к моменту подписания кредитного договора уже висит просроченный долг в четыреста миллионов и капают штрафные пени по старым траншам, в результате чего совокупный баланс обязательств разбухает до трех с половиной миллиардов рублей. В графе обеспечения исполнения обязательств числится твердый коммерческий контракт с нефтяным гигантом и пухлая ведомость заложенного движимого имущества — ровно двадцать одно наименование дорогостоящих промышленных агрегатов, буровых установок и компрессорных станций.

Деньги зачисляются на расчетные счета, открытые внутри того же самого банка. Казначейский мониторинг и служба финансового контроля в режиме реального времени, проводка за проводкой, наблюдают за тем, как целевое финансирование в течение нескольких суток уходит по цепочке транзитных договоров и оседает на балансах «технических» контор без штата и складских мощностей. Когда спустя полгода на руины предприятия заходит назначенный судом конкурсный управляющий с инвентаризационной описью в руках, перед ним открывается стерильный бетонный ангар, гулко повторяющий шаги. Имущество отсутствует. Двадцати одной единицы тяжелой техники не существует в физическом пространстве. Более того, при перекрестной сверке заводских номеров и таможенных деклараций выясняется, что этого железа не существовало в природе даже в тот день, когда кредитный комитет с серьезными лицами ставил визы на залоговых документах.

Три с половиной миллиарда и пустота. Никто не вскрывал бетонные казематы хранилища и не увозил купюры на инкассаторских броневиках — капитал был синтезирован запи-

сю в банковской базе данных под обеспечение бумажной галлюцинации, скомпилированной по всем канонам международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Современный бухгалтерский учет и аудит высшей лиги давно перестали быть инструментом отражения материальной реальности; они превратились в изощренную лингвистическую архитектуру маскировки вакуума, позволяющую упаковывать воздух в ликвидные балансовые активы и перепродавать кассовые разрывы по кругу. Финал этой постановки разворачивается по накаленным рельсам: банк хладнокровно отказывается от статуса залогового кредитора, чтобы получить большинство голосов на собрании и полностью контролировать процедуру банкротства, ответственные риск-менеджеры получают годовые бонусы и уходят на повышение в профильный департамент, а вокруг остывающего трупа компании еще три года кормятся армады юристов, оценщиков, судебных экспертов и антикризисных консультантов. Макроэкономисты аккуратно суммируют их гонорары в итоговой сводке и называют этот процесс ростом валового внутреннего продукта.

Чтобы понять, каким образом пустота обрела статус самого высокомаржинального товара планеты, необходимо вернуться в точку фазового перехода — пятнадцатое августа 1971 года. До этого воскресного вечера, когда президент США Ричард Никсон объявил о «временной» приостановке конвертации доллара в банковское золото по фиксированному Бреттон-Вудскому курсу в тридцать пять долларов за тройскую унцию, мировая денежная система при всех ее спекулятивных перекосах сохраняла жесткий термодинамический предохранитель. Золото нельзя напечатать нажатием клавиши *Enter*. Чтобы поднять на поверхность унцию благородного металла, необходимо сжечь тысячи литров дизельного топлива, перемолоть тонны скальной породы и оплатить тяжелый инженерный труд, поэтому бумажная купюра оставалась складской распиской на реальную затраченную энергию. Когда Шарль де Голль потребовал от Вашингтона обменять бумажные зеленые фантики на физические слитки и отправил в Нью-Йорк трюмы французских кораблей, глобальный эмитент просто перевернул шахматную доску и отменил само правило привязки знака к веществу.

В ту августовскую секунду человечество вступило в эпоху, которую инвестиционный аналитик Лин Алден в книге 2023 года точно назвала «сломанными деньгами» (*Broken Money*). Себестоимость генерации цифрового миллиарда на серверах центрального банка мгновенно обнулилась. Деньги окончательно оторвались от физического контура энергии и сырья, превратившись в чистый фиат — ничем не обеспеченную конвенциональную галлюцинацию, чей курс держится исключительно на монополии государственного принуждения и инерции коллективного гипноза.

Американский философ Кеннет Берк еще в 1945 году назвал деньги светским «Бог-термином» (*God-term*) — заместителем священного начала, универсальным кодом, способным конвертировать любое человеческое усилие, талант, честь или квадратный метр земли в однородную цифровую пыль. Немецкий социолог Никлас Луман описал современные деньги как символически генерализированный медиум коммуникации — и с холодной иронией указал на двойственную, буквально «диаволическую» природу этого медиума (от греческого *diaballein* — разделять, раскалывать): связывая миллионы незнакомых людей через бинарный код платежа и неплатежа, фиатные деньги одновременно отсекают экономическую операцию от любых внешних ориентиров морали, истины или физической пользы. После 1971 года денежный медиум перешел в режим тотальной операционной замкнутости и **самовалидации**: пустой символ имеет ценность только потому, что другие участники сети верят, будто завтра его примут третьи участники. Реальность заменили рекурсивным зеркалом.

Однако для представителя среднего класса — врача, программиста, адвоката или владельца производственного цеха — главная катастрофа фиатной архитектуры кроется не в философской пустоте банковского билета, а в гидродинамике его распределения. В учебниках для первого курса экономических факультетов деньги описываются как нейтральная смазка

обмена, которая якобы равномерно растекается по сосудам рынка. В действительности этот синтезированный из ничего цифровой миллиард выбрасывается на рынок и вступает в жестокую, неравную конкуренцию за конечные физические ресурсы с теми деньгами, которые рядовой специалист заработал ценой собственной бессонницы, сожженных нервных клеток и необратимого износа миокарда.

Физический закон этого грабежа еще в восемнадцатом веке открыл франко-ирландский банкир и экономист Ричард Кантильон. Суть **эффекта Кантильона** предельно проста и беспощадна: в любой иерархической сети новая эмиссионная ликвидность никогда не поступает на балансы всех узлов одновременно. Свеженапечатанные деньги втекают в экономику подобно густому меду, который льют на верхушку многоярусной пирамиды. Первыми, в точке нулевой задержки сигнала, к эмиссионной трубе центрального банка подключены узлы с правами системного администратора: казначейства, первичные банковские дилеры, оборонные концерны и транснациональные инвестиционные фонды.

Получив триллионы бесплатной или околонулевой ликвидности в момент их рождения, операторы первого контура выходят на рынок тогда, когда ценники в системе еще сохраняют вчерашние значения. Они скупают реальные заводы, месторождения меди и лития, сельскохозяйственные угодья, патентные портфели и целые кварталы недвижимости по старым, доинфляционным ценам. Лишь после того, как сливки твердых активов сняты и упакованы в закрытые трасты, денежная волна начинает медленно, каскад за каскадом, спускаться по графу подрядчиков и субподрядчиков вниз — к периферии сети. По мере этого движения денежная масса в системе разбухает, вызывая цепную реакцию пересчета всех прайс-листов. К тому моменту, когда эта разбавленная ликвидность наконец добирается до нижних этажей в виде индексации зарплаты топ-менеджера, гонорара инженера или выручки малого бизнеса, инфляционный скрипт уже полностью отработал. Квартира в мегаполисе, станок с ЧПУ и акция технологической компании стоят вдвое дороже.

Инфляция — это не стихийное погодное явление и не досадная ошибка регулятора, которую пытаются вылечить повышением ключевой ставки. В кибернетике фиатного капитализма инфляция представляет собой следствие сетевой задержки сигнала — прецизионный насос, который двадцать четыре часа в сутки беззвучно перекачивает материальное богатство от тех, кто производит реальную стоимость в контуре *SI*, к тем, кто контролирует сервер эмиссии. Центральные банки не тушат инфляционный пожар; они работают его главным топливным инжектором, параллельно обеспечивая коммерческим банкам узаконенную ренту на кредитном удушении реального сектора.

Если перевести этот процесс с языка банковских балансов на язык ведантической антропологии и физики времени, обнажается самая мрачная тайна современной цивилизации. Что именно лежит на банковском депозите сорокапятилетнего профессионала, который двадцать лет без отпусков строил карьеру, закрывал сделки и откладывал каждый свободный рубль или доллар на «подушку безопасности»? Там лежат не денежные знаки. Там в оцифрованном, законсервированном виде хранится его **уже прожитое биологическое время** — тысячи часов необратимо потраченной жизненной силы (*Праны*), пропущенные взросления собственных детей и стертые межпозвоночные диски.

Когда реальная потребительская и имущественная инфляция обесценивает валюту на пятнадцать — двадцать процентов в год, у человека крадут не резаную бумагу. У него **задним числом экспроприируют прошлое**. Проснувшись утром и обнаружив, что накопления за десять лет потеряли половину покупательной способности относительно квадратного метра жилья или базовой корзины активов, субъект сталкивается с холодным математическим фактом: пять лет его прошлой жизни были бесшумно изъяты и стерты из реестра без суда, следствия и конвойных собак. Крепостное право девятнадцатого века выглядело грубо и архаично, поскольку барин отбирал у крестьянина будущий труд трех дней недели на барщине;

архитектура сломанных денег позволяет эмиссионному центру дистанционно конфисковывать уже отработанные десятилетия у людей, искренне считающих себя свободными резидентами бизнес-класса.

В конечном счете, кредитный фиат — это точная макроэкономическая проекция воспаленной *Ахамкары*. Ложное эго патологически не способно опираться на бытие; оно требует непрерывного дофаминового подтверждения собственной значимости «здесь и сейчас», хищнически занимая ресурс у собственного завтра и оставляя после себя выжженную пустыню долга. Попытка построить долгосрочную стратегию семьи или предприятия внутри такой системы напоминает строительство каменного собора, где эталонный миллиметр на стальной рулетке архитектора программно сжимается каждую ночь. Когда сломана базовая мера измерения реальности, деградирует сама психобиология человеческого вида. Зачем проектировать двигатель с ресурсом в миллион километров или закладывать фундаментальную научную школу на полвека вперед, если расчетная единица сгниет раньше, чем высохнет бетон фундамента? Сломанные деньги принудительно переводят цивилизацию в режим коротких, истеричных спазмов, где выживает не созидатель, а спекулянт, успевший сбросить горящую фиатную головню следующему дураку в цепи.

В этой точке холодного аудита амбициозный ум неизбежно делает последний, самый циничный тактический вывод. Если внешний рынок зацементирован монополиями Пентагона, а пассивное накопление денег равносильно хранению воды в решете под насосом Кантильона, значит, остается единственная выигрышная стратегия: прекратить играть в независимость на периферии и встроиться внутрь самого распределительного аппарата. Подняться по ступеням крупной государственной корпорации, министерства или системного банка туда, где раздают те самые невозвратные миллиарды и выписывают опционы первой руки. Однако при попытке нажать кнопку вызова этого внутреннего, номенклатурного лифта соискатель упирается в трехступенчатый промышленный фильтр, чья кадровая логика устроена прямо противоположно его представлениям о меритократии и таланте.

### 2.3. Фабрика совместимости и одномерный человек

Кадровая автоматика больших корпоративных и государственных систем считает человека без внутренних уязвимостей не как ценный актив, а как чужеродный вирус, угрожающий обрушить всю архитектуру теневого баланса. Однако прежде чем соискатель вообще доберется до развилки, где проверяют его пригодность к номенклатурному допуску, сырье человеческой психики проходит первичную механическую обточку на трех промышленных фильтрах. Задача этого конвейера — заблаговременно ампутировать у будущего специалиста способность к целостному, внесистемному мышлению и выпустить на рынок стандартизированную деталь, лишенную собственного понятия о норме.

Первый фильтр — **фабрика совместимости**, замаскированная под систему высшего и дополнительного профессионального образования. На экран ноутбука в адвокатском кабинете выводится окно видеосвязи: по ту сторону канала, на фоне бирюзового бассейна и балийских пальм, сидит холеный молодой человек тридцати трех лет с дипломом престижного столичного юридического факультета. Два года назад он привлек заемное финансирование, открыл в центре Москвы пафосный тату-салон, оформил в банковский кредит глянцевого «Мерседес» и принялся ежедневно монтировать вертикальные ролики о мышлении успешного основателя. Когда кассовый разрыв стал необратимым, дипломированный юрист без тени сомнений сбросил заложенный банку автомобиль за наличные через серую перекупскую схему — не по злему криминальному умыслу, а просто потому, что именно так рекомендовали «оптимизировать обязательства» популярные блогеры в утренней ленте *TikTok*. Служба безопасности банка предсказуемо инициировала обращение взыскания на предмет залога и передала материалы в

следствие, после чего молодой человек купил билет в один конец до Денпасара и переключился на запись обучающих курсов по криптотрейдингу. Пока за его спиной в кадре плещется теплая вода Индийского океана, на дубовом столе перед адвокатом лежит пухлый, прошитый суровой ниткой том уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Этот казус — штатный продукт современной образовательной нарезки. Индустриальный университет больше не формирует картину мира; он аккуратно крошит сознание студента на изолированные прикладные модули, к которым намеренно забыли приложить общую принципиальную схему. Из учебных планов под предлогом практической полезности вычищены классическая логика Аристотеля, история философии и методология системного синтеза, а на их место загружены узкие регламенты и фреймворки. Математика, оторванная от онтологии, вырождается в набор скриптов для обслуживания кассовых аппаратов и биржевых терминалов. Юриспруденция, лишенная философии права, превращается в плоскую инструкцию по заполнению процессуальных бланков. Выпускник получает токсичную лицензию на иллюзию компетентности: он виртуозно знает, *как* оптимизировать локальную функцию внутри своего отсека, но аппаратно лишен оптики, позволяющей увидеть, *зачем* и куда движется весь корабль. Школа не учит отличать реальность от симуляции. Она академически сертифицирует навык симулировать.

Но даже идеально обточенная дипломная болванка остается биологическим объектом, у которого в звенящей тишине пустой вечерней квартиры, когда закрыт рабочий ноутбук и падает тактовая частота операционного процессора, может внезапно включиться несанкционированная рефлексия. Чтобы перехватить эту угрозу на дальних подступах, в контуре круглосуточно работает второй фильтр — **культурная анестезия**.

Философы Франкфуртской школы Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер еще в середине двадцатого века обозначили этот механизм термином «культурная индустрия», а французский теоретик Ги Дебор довел диагноз до предела в концепции «Общества спектакля», где непосредственное проживание бытия полностью вытеснено потреблением сфабрикованных образов. Высокое трагическое искусство прошлого — от античной драмы и полифонии Баха до большой психологической прозы — требовало от человека тяжелой внутренней работы, сострадания и катарсиса, принудительно разрывая скорлупу мелкого бытового эгоизма. Современный конвейер развлечений решает прямо противоположную инженерную задачу: он действует как синтетический миорелаксант. Стриминговые сериалы, бесконечные алгоритмические ленты коротких видео, индустрия компьютерных игр и гляцевых шоу спроектированы так, чтобы поддерживать кору головного мозга в состоянии управляемого информационного транса. В ведантической системе координат это принудительная фиксация психики в вязком, гипнотическом оцепенении *Тамаса*, которое искусственно взбадривается микроскопическими дофаминовыми вспышками суетливого *Раджаса*. Свободная энергия сознания, которая в тишине могла бы пробить защитный панцирь и задать вопрос о смысле проживаемого дня, без остатка сбрасывается через заземляющий кабель цифрового попкорна.

Если же отдельный узел оказывается настолько резистентным, что сохраняет остатки критического мышления после университета и не поддается вечернему сериальному наркозу, пытаюсь выстроить деловую или гражданскую стратегию по твердым правилам, перед ним опускается третий, силовой брандмауэр — **ситуативное право**.

Этимологи спорят о деталях, но образ точен: в архаическом пласте русского языка сохранилось короткое, литое слово «Кон» — обозначение изначального, объективного устоя мироздания, прямого аналога ведической *Риты* и *Дхармы*, где система сбалансирована внутренней правдой и совестью, а не печатью канцелярии. Когда живая связь человеческого сообщества с этим внутренним камертоном разрушается, возникает суррогатный внешний протез — то, что буквально располагается «за Коном». За-кон больше не опирается на этический инвариант; в зрелой матрице он трансформируется в закрытую систему алгоритмических предписаний,

которые применяются с хирургической избирательностью в зависимости от административного веса и финансового тарифа участников процесса. Иллюзия о том, что этот правовой релятивизм свойственен лишь развивающимся сырьевым перифериям, рассеивается при первом же столкновении с судами Лондона, Нью-Йорка, Парижа или Дубая: за безупречным фасадом английских париков и стеклянных небоскребов работает ровно то же ситуативное право, где в формулу судебного вердикта помимо стоимости адвокатского бюро заранее вшиты геополитический статус и происхождение паспорта истца. Закон превратился в платный корпоративный сервис по абонентской подписке.

Когда все три фильтра — модульное образование, культурная анестезия и ситуативное право — завершают цикл обработки, с конвейера сходит эталонный продукт эпохи. Философ Герберт Маркузе в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году дал этому антропологическому типу точное техническое имя: **одномерный человек**. В популярной публицистике эту формулу часто опошляют до бытовой метафоры узколобого обывателя, однако Маркузе зафиксировал куда более страшную кибернетическую мутацию. У человека ампутировали второе, ортогональное измерение сознания — способность выходить в надсистему (в позицию высокого рассудка *Буддхи* и чистого Свидетеля *Сакишина*), чтобы сопоставлять наличную социальную реальность с категорией должного.

Внутри одномерного контура исчезает сама лингвистическая возможность отрицания и критики: любое понятие сводится исключительно к набору операционных действий внутри существующего регламента. Свобода определяется как выбор между пятью тарифами ипотеки, справедливость — как соблюдение корпоративного комплаенса, успех — как пересчет годового бонуса. Поскольку одномерный субъект аппаратно не способен генерировать смысл из собственного ядра, он вынужден непрерывно импортировать суррогаты смысла снаружи: грейды, дипломы МВА, строчки в рейтингах и номенклатурные должности.

Но именно здесь, у подножия вожделенной аппаратной вертикали, отличника корпоративной дрессировки ждет самый жестокий системный сюрприз. Даже став абсолютно плоским и исполнительным, он вдруг обнаруживает, что на верхние этажи — туда, где распределяются бюджетные потоки и принимаются реальные решения, — его не пускают. Меритократический лифт не едет.

Причина этой блокировки лежит в базовой физике закрытых бюрократических и олигархических контуров. В популярной мифологии принято считать, что система ищет лучших профессионалов, однако на практике любой конвейер, работающий на скрытой ренте, откатах, приписках и круговой поруке, больше всего на свете страшится одного явления — сотрудника с «горящими глазами». Речь идет не о наивном юношеском энтузиазме, который легко гасится первой квартальной премией, а о ровном, ледяном огне внутренней убежденности и профессиональной чести.

В зале суда такая система панически боится не театрального адвоката, произносящего громкие речи на камеру, а сухого, въедливого процессуалиста, знающего кодекс наизусть и не отступающего от буквы нормы ни на миллиметр. В ведомственном аппарате или силовой структуре система боится не пьяного дебошира, а принципиального офицера, который начинает исполнять устав буквально — ровно в тот момент, когда все управление молчаливо договаривалось закрыть глаза на схему. В совете директоров холдинга боятся не агрессивного карьериста, а партнера, за которым не числится ни одного скелета в шкафу.

Такой человек не берет пухлых конвертов под столом, не подписывает фиктивных актов приемки и не страдает избирательной слепотой при аудите. Его не на что купить и нечем прижать к стенке. Переводя эту ситуацию на язык сетевой архитектуры, у субъекта с внутренним стержнем **наглухо закрыты входящие порты (API) для внешнего деструктивного управления**. В его коде отсутствует уязвимость (*exploit*), через которую вышестоящий оператор мог бы в любой момент перехватить управление или гарантировать молчание. Рядом с

таким узлом в переговорной комнате меняется сам молекулярный состав воздуха: он работает как живой детектор лжи, на фоне которого конъюнктурная фальшь и воровство остальных участников совещания становятся невыносимо видимыми.

Поэтому корпоративный и аппаратный Левиафан действует как безупречный автоматический пожарный. Если внутренний огонь специалиста не удастся засыпать золотым песком премий, абонементов в закрытые клубы и мягких намеков от внутреннего адвоката *Ахамкары* («не будь белой вороной, здесь так принято, подумай о семье и ипотеке»), включается протокол карантина. Сотрудника обкладывают социальными ярлыками: «токсичный перфекционист», «недоговороспособный», «человек не из команды». Его задвигают в глухие архивные отделы, отрезают от ресурсов, а при попытке сопротивляться — хладнокровно ломают через колено карьеру и репутацию. Зеркала, в которых мертвые видят свою мертвечину, в этой системе принято разбивать.

Наверх же по кадровому трубопроводу поднимаются исключительно элементы, прошедшие **отрицательный отбор по признаку уязвимости**. Чтобы получить ключи от высокого кабинета с правом подписи на миллиардных сметах, кандидат обязан предъявить системе свой «открытый порт» — задокументированный компромат, участие в старой растрате, неумную алчность, тщеславие или патологический страх потери статуса. Папка с материалами на каждого такого выдвиженца аккуратно ложится в сейф куратора еще до публикации приказа о назначении. Чем выше этаж в иерархии старого мира, тем жестче требование к абсолютной, стопроцентной управляемости узла: на вершине пирамиды не должно быть людей, способных в критическую секунду сказать «нет» по соображениям совести или государственной пользы. Каждый последующий назначенец в этой отрицательной селекции неизбежно оказывается структурно проще, послушнее и циничнее предыдущего, пока вся управленческая вертикаль до самого купола не заполняется одномерными биороботами с открытым внешним интерфейсом.

И вот здесь декорации первой части спектакля окончательно опускаются, обнажая голую, ледяную сцену. Круг замкнулся. Честный рыночный старт снизу заблокирован монополиями и патентными шлюзами военного комплекса; попытка сохранить заработанное в деньгах перемалывается инфляционным насосом Кантильона; а вход во внутреннюю номенклатурную элиту требует предварительной сдачи совести и подписания закладной на собственную свободу.

Но для многомиллионного среднего класса — всех тех образованных, трудолюбивых, законопослушных специалистов, которые десятилетиями соглашались на эти правила, стачивали собственные углы в университетах, брали тридцатилетние ипотеки и утешали себя тем, что за покорность система хотя бы гарантирует им сытую, комфортную старость в собственном доме, — в двадцать первом веке приготовлен финальный, самый безжалостный удар. Пока одномерный житель мегаполиса старательно доказывал матрице свою лояльность и полезность, в главной бухгалтерии планеты свели баланс физических ресурсов и энергии — и обнаружили, что само существование среднего класса больше не сходится по смете.

**Сухой остаток.** Лифт не едет не потому, что пассажир слаб. Шахта спроектирована так, чтобы наверх поднимались только те, у кого открыт порт для чужого управления.

**Протокол.** Один вечер — на ревизию собственного «лифта». На листе две колонки: что в карьере и доходе куплено собственным трудом, а что — близостью к чужой трубе (бюджету, кредиту, распределителю). Вторая колонка — не повод для стыда. Это карта зависимостей, которую система никогда не показывает сама.

## **Глава 3. Ликвидация среднего класса: термодинамический расчет**

*Средний класс строили как витрину. Витрину списывают, когда уходит зритель.*

### **3.1. Витрина Холодной войны и поводок «белых воротничков»**

Главное историческое заблуждение двадцатого столетия, бережно вшитое в университетские учебники экономики и корпоративные презентации, состоит в слепой вере, будто массовый средний класс явился естественным триумфом свободного рынка и неизбежным подарком технологического прогресса. Миллионы дипломированных специалистов, выросших в декорациях потребительского изобилия второй половины прошлого века, привыкли воспринимать собственный уровень жизни как фундаментальный закон природы, сопоставимый с гравитацией или сменой времен года. В этой наивной оптике капитализм по мере накопления богатства якобы сам собой становится мягче, гуманнее и щедрее, добровольно распределяя излишки пирога между наемными работниками умственного труда. История не подтверждает эту сказку.

До середины двадцатого века классический капитализм не знал никакого массового процветающего буфера между узкой кастой владельцев заводов и многомиллионной армией нищего пролетариата, балансирующего на грани физического выживания. Достаточно взглянуть на хронику США конца двадцатых годов: после восьмилетнего накачивания экономики кредитом наступил обвал: с 1929 по 1933 год денежная масса в стране сократилась примерно на треть, и Федеральная резервная система этому не помешала. Великая депрессия — это голодные марши и миллионы бездомных. Капитал никогда не делится маржой из филантропии. Он уступает ресурс только под дулом пистолета.

Перелом произошел после тысяча девятьсот сорок пятого года, когда перед архитекторами западного проекта встала экзистенциальная геополитическая угроза, которую невозможно было купировать ни полицейскими дубинками, ни биржевыми спекуляциями. На половине Евразии развернулся альтернативный индустриальный проект — Советский Союз, где созданный еще в тысяча девятьсот двадцать первом году Госплан математически обсчитывал и гарантировал каждому рабочему базовый пакет жизнеобеспечения: бесплатную квартиру, медицину, сквозное образование от школы до академии, гарантированную занятость и пенсию. Сталинская, а затем и хрущевская индустриальная машина, несмотря на все послевоенные шрамы и бытовой аскетизм, демонстрировала пролетариям Детройта, Рура и Лиона опасный прецедент: общество способно запускать спутники и строить атомные станции без частных банкиров и страха оказаться на улице из-за болезни. Чтобы собственный рабочий класс не развернул штыки против владельцев корпораций, а партийная номенклатура противника начала завистливо облизываться на западный образ жизни, требовалось в кратчайшие сроки сконструировать ослепительную геополитическую витрину.

Массовый средний класс родился в закрытых аналитических центрах послевоенной Америки как инженерно-политическое оружие Холодной войны. В тысяча девятьсот сорок восьмом году военное ведомство США учредило корпорацию RAND, куда стекались лучшие математики, кибернетики и системные аналитики, а бывшие офицеры статистического управления ВВС во главе с Робертом Макнамарой перешли в концерн Ford, чтобы перевести гражданскую промышленность на рельсы жесткого алгоритмического планирования. Параллельно корпорация IBM, еще вчера штамповавшая для фронта автоматические винтовки Браунинга и карабины M1, после Бреттон-Вудских соглашений переключилась на выпуск мейнфреймов,

серверов и систем хранения данных, ставших аппаратным ядром новой финансовой паутины. Возник кибернетически регулируемый капитализм.

В отличие от советского Госплана, проектировавшего уравнилельный минимум носков и бетона из расчета социального равенства, американская система освоила куда более тонкое ремесло — управление неравенством через кредит. Территория страны покрылась сетью региональных плановых контуров, где финансовые щупальца ФРС работали подобно вегетативной нервной системе живого организма: симпатический контур впрыскивал дешевые фиатные кредиты в отрасли витринного потребления, а парасимпатический мгновенно тормозил нежелательные сектора удорожанием заемных денег. Общество нарежали на десятки калиброванных страт, и для каждого этажа утвердили строгий, визуально считываемый стандарт материальных атрибутов. На рекламных щитах и телевизионных экранах круглосуточно транслировался эталонный слепок послевоенного рая: отдельный пригородный дом с гаражом, изумрудная подстриженная лужайка, роторная газонокосилка, два сверкающих хромом автомобиля у крыльца, чугунный гриль для воскресного барбекю, белозубая улыбка домохозяйки и золотистый ретривер, ловящий в прыжке пластиковый диск.

Манифест этой метаболической ловушки без тени стеснения сформулировал аналитик Виктор Лебо на страницах профильного издания «Journal of Retailing» весной тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Экономическая машина, фиксировал Лебо, отныне требует превратить потребление в принудительный образ жизни, трансформировать покупку и использование товаров в религиозный ритуал, заставить человеческое эго искать духовное спасение и внутреннее удовлетворение исключительно в вещах — сжигать, изнашивать, замещать и выбрасывать предметы со всевозрастающей скоростью. Спрос перестал рождаться из естественной нужды. Его начали индустриально штамповать сверху.

Секрет феноменальной живучести этой конструкции заключался в том, что проектировщики витрины отказались от грубого идеологического насилия и подключили кабели управления напрямую к древнейшим структурам головного мозга — лимбической системе и репительному комплексу. Если советская пропаганда взывала к абстрактным категориям совести, долга и всеобщего братства, требующим энергозатратной работы неокортекса, то архитектура общества потребления была точно по безусловным биологическим рефлексам стайного примата: питанию, размножению и иерархическому доминированию. Каждая покупка нового автомобиля, кухонного комбайна или телевизора в рассрочку вызывала в предвкушающем мозге обывателя резкий выброс дофамина — нейромедиатора новизны и погони за добычей. Но еще мощнее работал второй контур — статусный: обладание вещью, недоступной соседу с нижней ступени, приносило то спокойствие, которое в дикой природе достается вожаку стаи. Физиологи связывают его с серотонином: у доминантных самцов обезьян его уровень выше, а фоновая тревожность ниже. В эксперименте нейробиологов Университета Дьюка (2005) макаки-резусы соглашались отдать часть сока ради того, чтобы просто посмотреть на фотографию высокорангового самца своей группы. Рекламная индустрия и Голливуд масштабировали этот обезьяний рефлекс на сотни миллионов зрителей.

Самым изящным и дешевым трюком этой эпохи стала каста «белых воротничков» — маркировка *white collar*, которую в 1919 году ввел в оборот писатель Эптон Синклер. С точки зрения сухой политекономии наемный бухгалтер, юрист, банковский клерк или инженер в стеклянном офисе ничем не отличался от заводского токаря в промасленной синей робе («blue collar»): ни первый, ни второй не владели средствами производства, оба жили исключительно продажей собственного времени и оба могли быть уволены одним росчерком пера. Однако система выдала офисному служащему белоснежную сорочку. Белая ткань непрактична, мгновенно пачкается от малейшего прикосновения к физическому труду и требует ежедневной замены, превращаясь в демонстративный расходный материал, заметный издали, словно грива вожака в саванне.

Надев на вчерашнего пролетария крахмальную белую рубашку, посадив его в кондиционированный опенспейс и позволив смотреть сверху вниз на рабочего у станка, корпоративная матрица совершила гениальный подлог: она расплатилась с наемным персоналом вместо реальной доли в капитале дешевым серотониновым суррогатом кастового чванства. Клерк, ощущающий себя частью «привилегированного класса», навсегда утратил способность к горизонтальной солидарности. Гордыня наделила ошейник статусом украшения.

Но чтобы этот многомиллионный слой образованных служащих, получивших доступ к свободному времени и информации, не начал задавать системе неудобные вопросы о природе власти, к серотониновой морковке требовалось пристегнуть стальной кибернетический поводок. Этим поводком стала тридцатилетняя ипотека и система долгосрочного потребительского кредита. До середины двадцатого века допуск рабочего к капиталу был заблокирован имущественным цензом; после войны банки распахнули шлюзы, вручив каждому «белому воротничку» ключи от пригородного дома и машины авансом, в обмен на подписание долгового обязательства длиною в целую биологическую жизнь. С позиции теории управления долгосрочный ипотечный кредит представляет собой идеальный подавитель социальной энтропии. Субъект, которому первого числа каждого месяца на протяжении тридцати лет необходимо вносить фиксированный платеж под угрозой потери крыши над головой и мгновенного изгнания семьи в социальное гетто, физиологически не способен на бунт, забастовку или принципиальный этический демарш. Страх дефолта работает эффективнее любого надсмотрщика с плетью: заемщик сам будит себя по утрам, сам полирует корпоративную маску, сам проглатывает обиды на совещаниях и сам гонит собственную нервную систему по размеченной колее.

Внутри этого герметичного кредитно-потребительского колеса у представителя среднего класса сохраняется полная иллюзия свободы выбора, однако при ближайшем рассмотрении все его метания укладываются в три заранее оцифрованных системой сценария, ведущих к одному и тому же банкротству. Первый маршрут — стратегия отложенной жизни, или бесконечного транзита. Оператор убеждает себя, что текущий изматывающий забег в корпоративной упряжке является лишь черновиком, временной генеральной репетицией перед настоящим бытием, которое начнется сразу после выплаты ипотеки, закрытия очередного опциона или накопления заветного миллиона на пенсионном счете. Десятилетиями человек стискивает зубы, терпит токсичное начальство и заливает бетонный фундамент будущего, не замечая, как инфляционный насос обесценивает накопления, а изношенный миокард вырабатывает последний ресурс задолго до того, как с долгожданной жизни удастся содрать упаковочную пленку.

Второй маршрут — иллюзия проактивности и форсированного достигаторства. Заметив, что базовый конвейер ведет в тупик, амбициозный специалист решает переиграть матрицу за счет удвоения тактовой частоты: записывается на жесткие тренировки личностного роста, внедряет поминутный тайм-менеджмент, берет второй кредит на масштабирование бизнеса и переходит на работу без выходных. Система восторженно аплодирует такому рвению, поскольку этот юнит путает скорость вращения беличьего колеса с вектором собственного движения в пространстве. Вся его титаническая энергия уходит на генерацию социального интерфейса — непрерывный рендеринг безупречной цифровой и материальной голограммы успеха для чужих глаз, сжигающий девяносто процентов оперативной памяти мозга ради очередного лайка или одобрительного кивка в кулуарах.

Третий маршрут — бутафорский побег, известный как дауншифтинг или индустрия осознанности. Когда перегретая психика не выдерживает гонки, менеджер демонстративно сдает пропуск, сдает квартиру в аренду и улетает искать просветления в гималайские предгорья, на океанское побережье или в закрытые экопоселения. Ему кажется, что он взломал симуляцию и вышел на свободу, но в действительности он лишь сменил один тематический павильон парка аттракционов на другой. Поскольку базовый драйвер ложного эго остался нетронутым, беглец уже через месяц выстраивает на пляже или в ретритном центре точно такую же жесткую

серотониновую иерархию, меряясь с соседями редкими сортами пуэра, глубиной медитативных трансов и стоимостью экипировки для серфинга. Декорации сменились. Алгоритм остался прежним.

Чтобы высокоинтеллектуальный специалист годами бегал по этим трем замкнутым кругам и не замечал абсурдности происходящего, в его сознании круглосуточно работает механизм когнитивного расщепления. Подобно корабельному инженеру, программа наглухо заdraивает водонепроницаемые переборки между соседними отсеками памяти, не позволяя человеку сопоставить две очевидные истины: то, с каким остервенением он выслуживается перед системой днем, и то, с каким ледяным равнодушием эта же система списывает в утиль его предшественников вечером. Если позволить этим герметичным отсекам соединиться хотя бы на секунду, в психике произойдет короткое замыкание, которое породит вынужденную паузу, а за паузой наступит звенящая тишина — главный враг любого спектакля. Но в двадцать первом веке эту тишину больше не требуется вызывать искусственно, потому что сам геополитический фундамент послевоенной витрины перестал существовать. Как только в декабре тысяча девятьсот девяносто первого года над Кремлем спустили красный флаг и внешний конкурент исчез с карты мира, необходимость кормить, субсидировать и развлекать многомиллионную прослойку западного и периферийного среднего класса отпала сама собой — а следом за геополитикой приговор этому классу подписала неумолимая физика.

### **3.2. Предел сопромата и шлюпка на миллиард**

Демонтаж советского проекта в декабре тысяча девятьсот девяносто первого года мгновенно обнулil геополитическую рентабельность западной витрины. Пока по ту сторону железного занавеса существовал альтернативный центр силы, владельцам транснационального капитала приходилось терпеть огромные накладные расходы на поддержание социального мира: делиться маржой с квалифицированными инженерами, субсидировать доступное университетское образование, удерживать прогрессивную шкалу налогообложения и позволять семье наемного специалиста жить в собственном пригородном доме на одну зарплату. Как только внешний идеологический конкурент исчез, содержать эту дорогостоящую массовку стало незачем. Временное перемирие между капиталом и наемным трудом закончилось.

Еще полтора-два десятилетия после распада биполярной системы западный средний класс продолжал катиться вперед по инерции за счет одноразового мародерского трофея — разграбления постсоветского пространства и переноса грязных индустриальных контуров в Азию. В финансовую топку метрополии хлынули сотни миллиардов долларов дешевого сырья, советских промышленных патентов, редкоземельных металлов и практически бесплатной рабочей силы с востока, что позволило временно замаскировать падение реальных доходов населения лавиной копеечного ширпотреба и доступных кредитов. Однако к началу двадцатых годов двадцать первого столетия этот трофейный ресурс оказался полностью переварен, а глобальная экономическая машина на полном ходу врезалась в стену, которую невозможно обойти ни бухгалтерскими уловками, ни дополнительной печатью фиатных нулей. Этой стеной стал физический предел сопротивления материалов и второй закон термодинамики.

Главная иллюзия современного городского жителя, воспитанного на глянцевах презентациях технологических корпораций, заключается в наивной вере, будто научно-технический прогресс развивается по бесконечной экспоненте. Обывателю кажется, что стоит выписать ученым и стартаперам достаточно венчурных чеков, как они тут же изобретут вечный двигатель, бесплатную чистую энергию и материалы с волшебными свойствами. Подобным оптимизмом страдают исключительно люди, никогда не открывавшие учебник материаловедения и сопротивления материалов. В реальной физике всякое вещество имеет жесткий, непреодолимый потолок параметров: кристаллическая решетка самой высокопрочной легированной стали раз-

рушается при достижении предела текучести, самый тугоплавкий вольфрам или тантал плавится при критической температуре в камере сгорания турбины, медный проводник неизбежно греется от сопротивления, а сложные синтетические полимеры деградируют и распадаются в силу нестабильности искусственных молекулярных связей. Обмануть сопромат маркетингом нельзя.

Беспощадный аудит этого технологического тупика провел американский макроэкономист Роберт Гордон в фундаментальном исследовании взлета и падения экономического роста. Опираясь на сухую статистику производительности труда за полтора века, Гордон математически доказал, что все подлинные, тектонические прорывы человечества, изменившие физическое качество жизни, произошли внутри уникального столетнего окна между тысяча восемьсот семидесятым и тысяча девятьсот семидесятым годами. Именно тогда были созданы электроэнергетика, двигатель внутреннего сгорания, реактивная авиация, нефтехимия, металлургия легких сплавов, центральное водоснабжение и антибиотики.

После семидесятых годов двадцатого века фундаментальная физика и инженерия материалов уперлись в пологую полку убывающей отдачи: коммерческий авиалайнер сегодня летит через океан с той же дозвуковой скоростью, что и полвека назад, а тепловые и атомные электростанции вращают паровые турбины по термодинамическому циклу девятнадцатого столетия. После кризиса 2008 года, когда Федеральная резервная система опустила ставки к нулю и запустила печатный станок количественного смягчения, триллионы дешевых долларов хлынули не в станки и турбины, а в индустрию перекрашивания пикселей на стеклянных экранах, создавая у потребителя галлюцинацию бурного прогресса там, где в действительности менялся лишь дизайн иконок доставки еды и алгоритмы удержания внимания в социальных сетях.

Но пока виртуальная витрина раздувалась от бесплатной ликвидности, в машинном отделении планеты тихо сжималась удавка энергетической рентабельности — показателя, который в системном анализе обозначается аббревиатурой EROEI и отражает отношение полученной энергии к энергии, затраченной на ее добычу. В 1930-е годы, когда закладывался фундамент американского процветания, нефтяные фонтаны Техаса били почти с поверхности: на одну бочку нефти, сожженную при добыче, человечество получало около ста бочек. Энергия стоила копейки, позволяя строить гигантские пригородные дома с картонными стенами и заправлять пятилитровые восьмицилиндровые моторы.

В первой трети двадцать первого века геологическая халява закончилась. Чтобы добыть каждый следующий баррель углеводородов, приходится бурить километровые скважины на арктическом шельфе, разрывать гидравлическими ударами глубокие сланцевые пласты или вываривать тяжелые битуминозные пески, из-за чего энергетическая отдача падает: в среднем по нефти — до десяти–двадцати к одному, а у битуминозных песков — до трех–пяти. Точно такая же экспонента удорожания накрыла металлургию и горное дело: богатые поверхностные жилы давно выбраны, содержание чистой меди, никеля, кобальта и лития в руде неуклонно снижается, и ради получения одной тонны металла для аккумуляторов или серверных стоек карьерным самосвалам приходится перемалывать в пыль сотни тонн пустой породы, сжигая астрономические объемы дизельного топлива. Добыча материи стала неподъемно дорогой.

Попытки спасти положение за счет внедрения энергосберегающих технологий и «зеленого перехода» лишь ускоряют падение в пропасть, поскольку здесь вступает в силу открытый еще в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году парадокс английского экономиста Уильяма Стэнли Джевонса. Исследуя угольную промышленность Британской империи, Джевонс обнаружил контринтуитивный системный закон: когда Джеймс Уатт радикально повысил тепловой коэффициент полезного действия паровой машины, суммарное потребление угля в стране не сократилось, а выросло многократно. Повышение эффективности удешевляет стоимость единицы полезной работы, что мгновенно расширяет сферу применения технологии и вызывает взрывной рост совокупного пожирания ресурса. Переход к облачным вычислениям, электро-

мобилям и нейросетевым дата-центрам подтвердил правоту Джевонса с пугающей точностью: каждый новый, более экономичный техпроцесс в кремниевых чипах порождает экспоненциальный рост числа серверных кластеров, требующих уже не мегаватт, а выделенных гигаваттных атомных энергоблоков и целых рек пресной воды для охлаждения.

Столкнувшись с этим физическим потолком, современная экономика выродилась в то, что точнее всего определить как «цивилизацию маржи» — систему, которая утратила способность совершать прорывы во внешнюю среду и перешла к каннибализации собственного фундамента. Проблема этой модели заключается не в ее моральной жестокости, а в ее абсолютной структурной бесплодности: она больше не строит звездолеты и не открывает новые континенты, а лишь бесконечно клонирует старые протоколы, выжимает ренту из искусственно созданных трений и перепродает один и тот же актив в десятке деривативных оберток. В архитектуре искусственного интеллекта это явление известно как коллапс модели («model collapse»): когда большую генеративную нейросеть отрезают от притока свежих данных из физического мира и заставляют обучаться исключительно на ее собственном синтетическом выхлопе, с каждой новой итерацией веса сети необратимо вырождаются, выдавая все более плоский, уродливый и галлюцинаторный бред при сохранении гладкого синтаксиса.

Глобальный капиталистический конвейер впал в идентичный рекурсивный ступор. Чтобы удерживать финансовый оборот на фоне сжатия реального ресурсного пирога, система вынуждена принудительно ломать вещи и генерировать управляемый распад. Крупный подрядчик, десятилетиями укладывающий федеральные автомагистрали, знает главный негласный закон отрасли: технологически человечество давно умеет делать практически вечное дорожное полотно с идеальной гравийной подушкой и полимерными присадками, однако проект такой трассы никогда не пройдет сито государственного тендера. Вечный асфальт совершает непростительное экономическое преступление — он не сходит весной вместе со снегом и не требует ежегодного многомиллиардного ямочного ремонта. Если товар не ломается по расписанию, а инфраструктура не гниет, у финансовой матрицы останавливается кровообращение. Больше поломок — плотнее поток транзакций. Выше маржа.

Однако сжигать дефицитные киловатты, медь и нефть в топке одноразового потребления для миллиардов людей планета больше не может. Еще в 1968 году промышленники, ученые и чиновники учредили Римский клуб, а четыре года спустя группа системных динамиков из Массачусетского технологического института под руководством Денниса и Донеллы Медоуз опубликовала доклад «Пределы роста», впервые переведший мальтузианскую тревогу на язык компьютерных моделей исчерпания сырья. В 1991 году один из основателей клуба, британский химик Александр Кинг, вместе с Бертраном Шнайдером написал в докладе «Первая глобальная революция»: в поисках нового врага, способного сплотить людей, авторы пришли к выводу, что на эту роль подходят загрязнение среды, угроза глобального потепления, нехватка воды и голод, — а настоящий враг, значит, само человечество. В такой оптике экологическая повестка легко становится респектабельным камуфляжем для жесткой ресурсной сортировки.

Арифметику этого приговора без дипломатических эвфемизмов изложил русский логик и социолог Александр Зиновьев. Западное сверхобщество, указывал он, сформировало у своих граждан чудовищно интенсивный материально-энергетический обмен, требующий непрерывного всасывания ресурсов всей остальной географии; по его оценке, запасов сырья, воды, пахотных земель и энергии Земли по стандарту классического западного среднего класса — с отдельным домом, двумя автомобилями, регулярными перелетами и качественной медициной — хватает лишь на один миллиард человек. Современные расчеты экологического следа дают тот же порядок: если бы все жители Земли жили, как средний американец, человечеству понадобилось бы около пяти планет. На планете же сегодня живет восемь миллиардов, а демографическая инерция гонит эту цифру к десяти.

Ситуация описывается безжалостной метафорой спасательной шлюпки. Привилегированное меньшинство покачивается в комфортной лодке посреди бушующего океана нужды, где за бортом барахтаются еще семь миллиардов человек, жаждущих залезть внутрь и получить точно такой же паек из дома с лужайкой и стейка на ужин. Если капитан шлюпки проявит гуманизм и попытается поднять на борт всех страждущих, перегруженное судно мгновенно пойдет ко дну вместе с элитой. Но к двадцатым годам двадцать первого века обнаружилась еще более пугающая деталь: из-за падения энергетической отдачи и истощения богатых месторождений сама спасательная шлюпка дала течь, и ее грузоподъемность стремительно сокращается.

В этой точке термодинамический баланс сходится в ледяную, однозначную формулу. В условиях, когда добыча каждой тонны реального вещества становится экспоненциально дороже, а геополитическая нужда в поддержании пропагандистской витрины давно исчезла, многомиллионный средний класс — все эти прилежные «белые воротнички», юристы, менеджеры, консультанты и владельцы мелких сервисных бизнесов — превращается в главный нерентабельный пассив глобальной бухгалтерии. С точки зрения системных архитекторов, эта прослойка потребляет непропорционально много дефицитного физического ресурса, требует высоких операционных затрат на свое обслуживание и при этом больше не выполняет никакой стратегической функции. Чтобы сохранить привычный уровень роскоши и безопасности для узкого ядра владельцев инфраструктуры, избыточный социально-экономический буфер приговорен к плановой ликвидации — а его накопленное имущество, квадратные метры и даже само биологическое тело подлежат переводу в режим жесткой принудительной амортизации.

### 3.3. Списание буфера: от собственности к подписке

Сорок пять минут. Именно столько в утренний час пик длится покорное ожидание лифта в гудящем бетонном колодце подъезда, насквозь пропахшем сырой штукатуркой и дешевым плиточным клеем. В недавно сданном пятидесятиэтажном жилом комплексе, который застройщик на рекламных рендерах именовал «оазисом городского комфорта», из четырех скоростных шахт со скрежетом курсирует только одна кабина. Панорамные окна этого вертикального барака упираются в глухую стену точно такой же бетонной башни в тридцати метрах напротив, за которой громоздится третья, четвертая и десятая — бесконечный частокोल спального гетто без парковок, парков и поликлиник.

С каждой уходящей минутой плотность кислорода в тесном холле падает, а градус тихой, сдавленной ненависти растет. У стальных створок плечом к плечу утрамбовываются вчерашние триумфаторы потребительского рая: ипотечные менеджеры в мятых пальто, бледные пенсионеры, студенты и курьеры с громоздкими желтыми коробами за спиной. Те, кого переполненная кабина безжалостно отсекает резиновыми краями дверей, молча смотрят на гаснущее табло и понимают, что следующий шанс спуститься с сорок второго этажа на землю выпадет только через три четверти часа.

Этот пятидесятиэтажный «человейник» — словечко того же Зиновьева — представляет собой идеальный архитектурный слепок того, как система утилизирует обанкротившийся средний класс в двадцатых и тридцатых годах двадцать первого века. Когда энергетическая рентабельность планеты упала, а необходимость содержать просторные пригородные дома с газонами отпала, глобальная бухгалтерия запустила протокол радикального сокращения операционных издержек — перевод бывших собственников в режим компактного клеточного хранения. Чтобы выжать максимальную маржу из каждого квадратного метра городской земли при минимальных затратах бетона, меди и тепла, строительное лобби годами добивалось смягчения норм, которые когда-то писались кровью и рассчитывались исходя из инсоляции, пропускной способности сетей и грунтов. На крохотном пятачке земли, где изношенные чугунные

трубы и электроподстанции проектировались под пятиэтажный квартал, точечная застройка втыкает пятидесятиэтажный монолит на две тысячи бетонных ячеек-студий.

Никакой ошибки проектирования или халатности в этом коммунальном аду нет — перед наблюдателем разворачивается безупречно отлаженная экономика запланированного распада. Местная управляющая компания исправно списывает ежемесячную дань с банковских карт жильцов и транзитом перегоняет миллионные потоки на счета подрядных фирм, принадлежащих троюродным братьям, своякам и доверенным любовницам девелопера. На этом этаже социальной пирамиды банальное мародерство давно легализовалось в респектабельный «обычай делового оборота». Три сломанных лифта из четырех, вечно текущие трубы в паркинге и отваливающаяся фасадная плитка не чинятся месяцами не потому, что в смете не хватает средств, а потому, что разруха обладает абсолютной коммерческой ликвидностью. Пока инфраструктура гниет и искрит, на каждом витке аварийного ремонта осваиваются свежие бюджеты, крутятся кредитные линии, кормятся юристы, оценщики, страховые брокеры и коллекторы, а совокупный чек этого бессмысленного трения гордо заносится статистиками в графу роста валового внутреннего продукта.

Стратегическая цель этой жилищной мясорубки заключается в окончательном закрытии исторического проекта частной собственности для масс и переводе населения на модель пожизненной подписки — ту самую, которую в 2016 году описала в эссе датский политик Ида Аукен («Добро пожаловать в 2030 год: у меня ничего нет, у меня нет приватности, и жизнь никогда не была лучше») и растажирил ролик Всемирного экономического форума. Классический буржуазный собственник двадцатого века, владевший выплаченным домом, участком земли, автомобилем с простым атмосферным мотором и набором надежных инструментов, обладал опасным запасом автономности: в момент кризиса он мог закрыть ворота, опереться на материальный актив и переждать бурю. Современный обитатель бетонной соты лишен этого буфера на аппаратном уровне.

Даже если в государственном реестре за ипотечным заемщиком формально числится право собственности на тридцать квадратных метров воздуха между бетонными перекрытиями на сороковом этаже, физически эта ячейка не является автономным активом. Без непрерывной подачи электричества на насосные станции, без работающего лифта, без облачных серверов управляющей компании и без бесперебойного подвоза калорий курьерами высотная квартира за сорок восемь часов превращается в непригодный для жизни бетонный склеп. Собственность незаметно подменили временным правом условного доступа: человек больше не покупает автомобиль — он арендует поминутный каршеринг или платит абонентскую ренту за активацию подогрева сидений в напичканном электроникой гаджете на колесах; он не владеет книгами, фильмами и профессиональным софтом — он ежемесячно продлевает облачную лицензию, которую корпоративный сервер вправе аннулировать одним щелчком рубильника за нарушение правил сообщества. Из полноправного субъекта экономики представитель среднего класса разжалован в бесправного пользователя терминала, чей операционный расход сведен к минимуму, а любая попытка накопить передаваемый по наследству капитал обнуляется стоимостью аренды самой жизни.

Однако списание имущественного буфера составляет лишь половину ликвидационного баланса. После того как у наемного специалиста изъяли время через инфляцию и отобрали автономную среду обитания через ипотечную капсулу, система приступает к монетизации последнего физического ресурса, оставшегося в его распоряжении, — самого биологического тела. Запускается протокол принудительной амортизации плоти.

Механику этого процесса с хирургической наглядностью иллюстрирует случай из практики автора: хорошая знакомая, дипломированный провизор с четвертьвековым стажем и энциклопедическим знанием биохимии, однажды решилась на невинную косметическую процедуру — вколола в губы популярный гиалуроновый филлер. Ей казалось, что это розовая,

точечная сделка с индустрией красоты ради легкого обновления фасада и соответствия корпоративным стандартам молодости. Но конвейер запланированного распада не допускает одиозных транзакций. Уже через полгода зеркало в ванной безжалостно показало, что на фоне изменившихся пропорций потребовалось подтянуть скулы, затем выровнять овал подбородка, затем заблокировать мимику лба нейротоксином. Замкнутый цикл запустился.

Современная эстетическая и клиническая медицина давно перестала лечить или восстанавливать природную норму — она переводит человеческую плоть в режим абонентского обслуживания. Введенный филлер может мигрировать в тканях, притягивать воду и нарушать лимфоотток; лицо начинает медленно плыть, и каждый предыдущий патч требует еще более дорогого исправления. Живая ткань человека превращается в ту самую федеральную асфальтовую трассу, которую подрядчики показательно перекладывают каждую весну, пока полотно окончательно не пойдет неустрашимыми буграми.

В масштабах всей популяции этот же алгоритм развернут через плотную связку химического пищевого и транснационального фармацевтического картеля. Достаточно взять обычный калькулятор и просуммировать химический состав стандартной продуктовой корзины, которую городской житель ежедневно вывозит на тележке из сетевого супермаркета. На этикетке каждого отдельного товара — будь то пластиковый хлеб на ускоренных термофильных дрожжах, кондитерский батончик на гидрогенизированном пальмовом жире, пачка сосисок с нитритом натрия и глутаматом или обезжиренный йогурт, накачанный модифицированным крахмалом и скрытыми сиропами фруктозы, — концентрация синтетических эмульгаторов, консервантов и трансжиров аккуратно уложена в предельно допустимую санитарную норму. От одной порции такой еды биологический скафандр не падает замертво. Но когда на протяжении десятилетий в топку организма ежедневно загружается сумма из тридцати таких позиций, кумулятивный токсический удар гарантированно пробивает ферментативную защиту печени, выжигает микробиом кишечника, раскачивает инсулиновые качели и вгоняет сосудистый эндотелий в состояние хронического системного воспаления. Остаться здоровым на таком топливе десятилетиями удастся немногим.

Биологическая машина специалиста выводится из строя медленно, по одному незаметному пикселю в день. Сначала батарейки тела перестают хватать до конца рабочего дня, появляется утренняя бетонная усталость и туман в голове, которые оператор привычно глушит двойным эспрессо, сахаром, энергетиками и никотиновым вейпом. Затем начинаются панические атаки, скачки давления и бессонница, гасящиеся вечерним бокалом вина. А в тот момент, когда скрытый износ переходит в клиническую фазу и на приборной панели организма загораются красные чеки метаболического синдрома, диабета, аутоиммунного сбоя или онкологии, эстафетную палочку у продуктового супермаркета без единого шва перехватывает аптечная сеть.

В 2018 году аналитики Goldman Sachs в записке для клиентов задали вопрос вслух: «Является ли излечение пациентов устойчивой бизнес-моделью?» В логике, которую можно назвать «Болезнь-как-сервис», автономный, выносливый человек с чистыми сосудами и ясным умом представляет собой вопиющую экономическую аномалию. Он ничего не покупает в аптеке, не оформляет платные медицинские подписки и означает для акционеров прямую упущенную выгоду. Идеальным же продуктом конвейера является пациент, которому в тридцать пять лет продали метаболический сбой под видом дешевой еды и стрессового достигаторства, а в сорок посадили на пожизненную абонентскую капельницу из статинов, гипотензивных препаратов, антидепрессантов, гормональной заместительной терапии и регулярных диагностических чекапов. Такого клиента не нужно ни убивать, ни окончательно вылечить: его следует бережно удерживать в состоянии контролируемой хронической полужизни, выкачивая из его страхов, страховых полисов и остатков ипотечного бюджета максимальную пожизненную стоимость — показатель LTV («Lifetime Value»). И жаловаться на эту конструкцию некому,

поскольку всем участникам цепочки — от технологов пищевых концернов до главных врачей и регуляторов — система позволяет очень неплохо зарабатывать на амортизации человеческого материала.

На этом панорама первой части исследования сходится в единый, предельно резкий фокус, завершая первичный диагноз эпохи. Картина тотального проигрыша среднего класса собрана целиком. На первом уровне, внутри собственной черепной коробки, образованный специалист оказался заложником нейробиологического узурпатора — воспаленной эго-программы Ахамкары, которая перехватила управление у безмолвного сознания, заперла личность в бункере из пяти защитных контуров и заставила сжигать единственную жизнь ради фантомного одобрения в глазах равнодушной толпы. На втором уровне, во внешнем контуре большой экономики, рухнули все три карго-культа капиталистической религии: сказка о гаражных миллиардерах оказалась дымовой завесой военного комплекса DARPA, сбережения были экспроприированы инфляционным насосом Ричарда Кантильона, а кадровые фильтры пропустили наверх лишь одномерных конформистов с открытыми портами для шантажа. Наконец, на третьем, физическом уровне закрылась сама геополитическая и термодинамическая сделка двадцатого века: из-за падения энергетической отдачи и исчерпания дешевых ресурсов планета больше не способна кормить буферную прослойку собственников, вследствие чего бывших «белых воротничков» планово упаковывают в пятидесятиэтажные арендные соты и переводят на пожизненную фармакологическую ренту.

Остается один-единственный, но самый главный инженерный вопрос, без ответа на который эта аутопсия была бы неполной. Каким образом система сумела провести столь масштабную операцию по экспроприации будущего без единого выстрела? Почему десятки миллионов умных, дипломированных, вооруженных аналитическим аппаратом мужчин и женщин не просто покорно зашли в бетонную ячейку у сломанного лифта, но и на протяжении тридцати лет с энтузиазмом, своими собственными руками распиливали на металлолом заводы, научные институты, социальные гарантии и правовые скрепы своих государств, расчищая строительную площадку под собственный цифровой концлагерь? Ответ кроется в том, что задолго до физического списания в операционную систему их разума был впрыснут самый совершенный в истории концептуальный эксплойт — философский вирус «разумного эгоизма» и боевая доктрина «Открытого общества».

**Сухой остаток.** Средний класс списывают не за грехи, а по смете: дешевые ресурсы кончились, витрина больше не нужна. Спасает не следующая ступень потребления, а выход из самой сметы — туда, где человек перестает быть статьей расходов.

**Протокол.** Неделю вести короткий журнал: что из имущества и жизни принадлежит по-настоящему, а что — по подписке и с разрешения чужого сервера (жилье в ипотеке, облака, приложения, лицензии, абонементы). Против каждой строки — одно слово: «мое» или «доступ». Эта таблица понадобится в шестой и двенадцатой главах.

## **Часть II. Территория демонтажа**

*Как жертва сама сносит свой дом*

## **Глава 4. Вирус разумного эгоизма и концептуальное оружие**

*Высшая уловка идеологии — убедить мир в своем отсутствии.*

### **4.1. Лабораторный гомункул**

Самая совершенная идеологическая диверсия начинается не с торжественного провозглашения новой догмы, а с убеждения инфицируемого объекта в том, что никакой идеологии больше не существует. Когда миллионы дипломированных специалистов, инженеров, врачей и правоведов на протяжении трех десятилетий собственными руками разбирали на металлолом индустриальный, научный и социальный фундамент своей цивилизации, в их картине мира этот процесс вовсе не выглядел актом коллективного суицида или геополитической капитуляции. Напротив, в оптике исполнителей происходило долгожданное возвращение к «естественному порядку вещей» — освобождение живой человеческой натуры от противоестественных оков государственной морали, исторического долга и коллективной ответственности. Хищнический паразитизм, возведенный в ранг деловой доблести, воспринимался не как привнесенный извне программный сбой, а как базовая биологическая гравитация, спорить с которой столь же бессмысленно, как протестовать против смены времен года или закона всемирного тяготения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.